



Дана Рубина

РУССКАЯ КАНАРЕЙКА

КНИГА 2

ГОЛОС

18+

Русская канарейка

Дина Рубина

Русская канарейка. Голос

«ЭКСМО»

2014

Рубина Д. И.

Русская канарейка. Голос / Д. И. Рубина — «Эксмо»,
2014 — (Русская канарейка)

ISBN 978-5-699-70684-6

Леон Этингер – обладатель удивительного голоса и многих иных талантов, последний отпрыск одесского семейства с весьма извилистой и бурной историей. Прежний голосистый мальчик становится оперативником одной из серьезных спецслужб, обзаводится странной кличкой «Кéнар русí», («Русская канарейка»), и со временем – звездой оперной сцены. Но поскольку антитеррористическое подразделение разведки не хочет отпустить бывшего сотрудника, Леон вынужден сочетать карьеру контратенора с тайной и очень опасной «охотой». Эта «охота» приводит его в Таиланд, где он обнаруживает ответы на некоторые важные вопросы и встречает странную глухую бродяжку с фотокамерой в руках. «Голос» – вторая книга трилогии Дины Рубиной «Русская канарейка», семейной саги о «двух потомках одной канарейки», которые встретились вопреки всем вероятиям.

ISBN 978-5-699-70684-6

© Рубина Д. И., 2014

© Эксмо, 2014

Содержание

Охотник	6
Меир, Леон, Габриэла...	44
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Дина Рубина

Русская канарейка. Голос

© Д. Рубина, 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

ОХОТНИК

Он взбежал по ступеням, толкнул ресторанный дверь, вошел и замешкался на пороге, давая глазам привыкнуть.

Снаружи все выжигал ослепительный полдень; здесь, внутри, высокий стеклянный купол просеивал мягкий свет в центр зала, на маленькую эстраду, где сливочно бликовал кабинетный рояль: белый лебедь над стаей льняных скатертей.

И сразу в глубине зала призывным ковшом поднялась широкая ладонь, на миг отразилась в зеркале и опустилась, скользнув по темени, будто проверяя, на месте ли бугристая плешь.

Кто из обаятельных экранных злодеев так же гладил себя по лысине, еще и прихлопывая, чтоб не улетела? А, да: русский актер – гестаповец в культовом сериале советских времен.

Молодой человек пробирался к столику, пряча ухмылку при виде знакомого жеста. Добравшись, обстоятельно расцеловал в обе щеки привставшего навстречу пожилого господина, с которым назначил здесь встречу. Не виделись года полтора, но Калдман тот же: голова на мощные плечи посажена с «устремлением на противника», в вечной готовности к схватке. Так бык вылетает на арену, тараня воздух лбом.

И легендарная плешь на месте, думал молодой человек, с усмешкой подмечая, как хозяйски основательно опускается на диван грузный человек в тесноватом для него и слишком светлом, в водевильную полосочку, костюме. На месте твоя плешь, не заросла сорняком, нежно аукается с янтарным светом лампы... Что ж, будем аукаться в рифму.

Собственный купол молодой человек полировал до отлива китайского шелка, не столько по давним обстоятельствам биографии, сколько по сценической необходимости: поневоле башку-то обнулишь – отдирать парик от висков после каждого спектакля!

Их укромный закуток, отделенный от зала мраморной колонной, просил толики электричества даже сейчас, когда снаружи все залито полуденным солнцем. Ресторан считался изысканным: неожиданное сочетание кремовых стен с колоннами редкого гранатового мрамора. Приглушенный свет ламп в стиле Тиффани облагораживал слишком помпезную обстановку: позолоту на белых изголовьях и подлокотниках диванов и кресел, пурпурно-золотое мерцание занавесей из венецианской ткани.

– Ты уже заказал что-нибудь? – спросил молодой человек, присаживаясь так, будто в следующую минуту мог вскочить и умчаться: пружинистая легкость жокея в весе пера, увертливость матадора.

Пожилый господин не приходился ему ни отцом, ни дядей, ни еще каким-либо родственником, и странное для столь явной разницы в возрасте «ты» объяснялось лишь привычкой, лишь отсутствием в их общем языке местоимения «вы».

Впрочем, они сразу перешли на английский.

– По-моему, у них серьезная нехватка персонала, – заметил Калдман. – Я минут пять уже пытаюсь поймать хотя бы одного австрийского таракана.

Его молодой друг расхохотался: снующие по залу официанты в бордовых жилетах и длинных фартуках от бедер до щиколоток и впрямь чем-то напоминали прыскающих в разные стороны тараканов. Но больше всего его рассмешил серьезный и даже озабоченный тон, каким это было сказано.

«Насколько же он меняется за границей!» – думал молодой человек. Полюбуйтесь на это воплощение респектабельности, на добродушное лицо с мясистым носом в сизых прожилках, на осторожные движения давнего сердечника, на бархатные «европейские» нотки в обычно отрывистом голосе. А этот мечтательный взлет клочковатой брови, когда он намерен изобразить удивление, восторг или «поведать нечто задушевное». А эта гранитная лысина в тро-

гательном ореоле пушка цвета старого хозяйственного мыла. И наконец, щегольской шелковый платочек на шее – непременная дань Вене, *его Вене*, в которой он имел неосторожность появиться на свет в столь неудобном 1938 году.

Да, за границей он становится совсем иным: этакий чиновник среднего звена какого-нибудь уютного министерства (культуры или туризма) на семейном отдыхе в Европе.

Разве что левый пристальный глаз пребывает в вечной слежке за шустрым, слегка убегающим правым.

На деле должность Натана Калдмана была не столь уютной: он возглавлял одно из ключевых направлений в государственном комитете по борьбе с террором – структуре закулисной, малоизвестной и общественности и журналистам (как ни трудно вообразить это в наш век принародно полоскаемого белья), – в структуре, координирующей деятельность всех разведывательных служб Израиля.

«Работенка утомительная, – говаривал Калдман в кругу семьи. – Чем я занят? Меняю загаженные подгузники. И хлопотно, и воняет, ибо все подгузники загажены, и все задницы просят порки, и никакого понимания со стороны *этих законодательных болванов...*»

Впрочем, напрямую он подчинялся одному лишь премьер-министру. Уже лет десять жаловался на сердце и поговаривал о своей мечте – уйти на покой.

Но знаменитый его жест – гуляющая по булыжному черепу медвежья лапа – жест, наверняка отмеченный в картотеках многих серьезных спецслужб, был совершенно тем же, что и много лет назад (облысел он совсем молодым, еще в эпоху легендарной охоты Моссада за вернушкой и европейскими связными «Черного сентября»).

– Что у тебя за блажь – тащить людей в это заведение? – пробурчал Калдман. – Центр города, проходной двор...

Не сговариваясь, они расположились по привычке, ставшей инстинктом: Калдман – лицом к входной двери, его молодой друг – по левую руку, чтобы сквозь надраенные до бесплотности стекла входных дверей видеть, что происходит на улице за углом, – максимальный сектор обзора. Встреча подразумевалась дружеской, никаких дел, упаси боже; что, мало у нас приятных тем для разговора? Во всяком случае, именно так вчера прозвучала фраза Калдмана по телефону. Подразумевалось, что в Вене они оказались в одно и то же время совершенно случайно, как уже бывало и раньше. Подразумевалось, что Вена – хороший город. Спокойный хороший город, а английский язык, на котором они говорили, естественно и ненавязчиво влечен в туристическое многоголосье.

Снаружи парило, и беспорядочная, разноязыкая, штиблетно-маечная, рюкзачно-кроссовочная толпа на небольшой площади томила на тихом огне.

На той же площади, в тени под красно-белым полосатым тентом, за столиком недорогого бара-закусочной сидел с развернутым номером свежей «Guardian» крупный мужчина ирландской масти, со слуховым аппаратом в рыжем ухе. То, что казалось излишком веса, являлось наработанным каучуком узловатых мышц. Слуховой аппарат был миниатюрным передатчиком – так, на всякий случай.

Никто бы не сказал, что он слишком часто посматривает на двери известного ресторана, куда его невозмутимый взгляд благополучно проводил сначала Калдмана, а потом и другого, молодого. Но Реувену Альбацу и не требовалось рыскать глазами по сторонам: «Дуби¹ Рувка» знаменит был тем, что видел не только затылком, но любой, казалось бы, частью неуклюжего с виду тела, нюх имел собачий, а опасность чуял так, как парфюмер чует в шарфике, случайно найденном за диваном, остатный запах духов прошлогодней любовницы.

¹ Медвежонок (*ивр.*) – здесь и далее прим. автора.

И, разумеется, никакого отношения ни к нему, ни к тем двоим, что сидели в глубине ресторанного зала, не имела пантомима двух бронзовых атлетов, застывших у въезда в подземную парковку задолго до того, как двое мужчин засели в ресторане.

Бронзовые атлеты вообще проходили по другому ведомству и на площадь являлись вот уже две недели в рамках подготовки некой операции, которую никто, упаси боже, не собирался доводить до логического конца в этом чудесном городе.

Ничего не торчало в их бронзовых ушах. Просто на шее у каждого пузырилось пышное жабо, где в складках можно было спрятать не только миниатюрный передатчик, но, если понадобится, и «глок» – так, на всякий случай.

В последние годы на улицах европейских городов встречается множество подобных живых скульптур.

– И если они такие шикарные, что имеют аж белый рояль, то почему бы им не потратиться на кондиционер в эпоху изменения климата? – поинтересовался Натан, промокая салфеткой борозды морщин на лбу. – В каждой паршивой забегаловке на рынке Маханэ Иегуда можно дышать.

– Зато здесь тихо, – заметил его молодой друг. – Тихо и культурно, особенно днем. А на *Махан-юда* от воплей торгашей можно рехнуться. На твоем месте я просто снял бы пиджак, – добавил он. – Если, конечно, у тебя там не две пушки под мышками.

Он поймал из рук пролетавшего официанта карты меню, одну сдал Калдману, как партитуру оркестранту, и уткнулся в свою, хотя уже знал, что закажет: форель на гриле.

Если б не модная трехдневная щетина, аскетичными тенями отчеркнувшая худобу смуглого лица, его можно было бы принять за подростка, обритого наголо перед поездкой в летний лагерь. И, судя по всему, ему совсем не мешала эта явная *легковесность* – наоборот, он подчеркивал ее, двигаясь со скупой грацией человека, немало часов уделившего когда-то изучению приемов «крав мага», разновидности жесткого ближнего боя, которая не оставляет противнику ни малейшего шанса.

«Ты бьешь один раз, – говорил его инструктор Сёмка Бен-Йорам. – Бьешь, чтобы убить. Никаких “вывести из игры”, “отключить”, прочие слюни. Если целишь в голову, то уж в висок. Если в глаз – ты его выбиваешь».

Смешное имя – Сёмка Бен-Йорам, придуманное, конечно; бродяга, дзюдоист, обладатель десятого дана, каких на свете считанные единицы; сидя за столом, он поднимал ногу выше головы, и это выглядело фокусом. Кажется, ныне преподает на сценарных курсах в Тель-Авивской театральной школе, аминь.

И каждый раз надеешься, что все это осталось в прошлом.

Молодой человек отложил меню и оглядел полукруглый зал с рядом высоких арочных окон, с хороводом зеркально умноженных колонн, за каждой из которых можно исчезнуть, просто откинувшись к спинке кресла.

– Во-первых, – проговорил молодой человек с неторопливым удовольствием, – здесь бывал вожь русской революции Троцкий. Во-вторых, лет сто назад одна из моих любимых прабабок играла тут на фортепиано вальсы Штрауса и пьесы Крейслера. Я ведь рассказывал тебе, что у меня были одновременно две разные – абсолютно разные – любимые прабабки? Когда я здесь бываю, а я часто мотаюсь в Вену, меня тянет в это австро-венгерское гнездышко, как лося на водопой.

– Вообразить прабабку за белым роялем?

– Это был не рояль... – Он задумчиво улыбнулся, продолжая изучать карту вин. – Не рояль, а такое, знаешь, раздолбанное фортепиано с бронзовыми канделябрами, мечта антиквара. И тапер – заезженная кляча. Представь на месте этого зала внутренний дворик с гале-

реей, вот эту стеклянную купольную крышу, и на крахмальных скатертях – красно-желтые ромбы от оконных витражей... И канун Первой мировой, и прабабке – четырнадцать, и если б ты видел ее фотографию тех лет, ты бы непременно влюбился. Это был счастливейший день ее жизни, преддверие судьбы – она часто его вспоминала. Затем век миновал, все здесь перестроили, витражи куда-то подевались, стены залепили зеркалами, как в восточной лавке... – Он поднял глаза на собеседника: – Кстати, ты знаешь, для чего в восточных лавках вешают зеркала?

– Ну-ну, – бросил тот с насмешливым любопытством, стараясь не смотреть на левое запястье: в его распоряжении сегодня времени достаточно; вполне достаточно и для *болтовни*, и для дела. – Давай, просвети меня, умник.

– Чтобы кенарь не чувствовал себя одиноким. Чтобы он пел любовные песни собственному отражению.

Калдман разглядывал молодого человека едва ли не с родственной гордостью. Вот ведь *этому* никогда не нужны часы на руке. Как это называется: встроеное время? Чувство времени, тикающее в организме, даже во сне. Он и на встречу явился минута в минуту. С годами можно, конечно, в себе вышколить, но ведь *у этого* оно врожденное. Одно из его врожденных чудес, черт бы побрал его рыжую мамашу!

Ему идет дорогая одежда, думал Калдман, и он научился ее носить, он всему быстро учится. Все в тон, благородный песочный оттенок, никакого модного *китча*, вроде набивных пальм на сорочке, никаких золотых опознавательных штампов. Все прекрасно подобрано вплоть до светло-коричневых мокасин из тонкой кожи, вплоть до тонких носков в цвет костюму – *незаметность* превыше всего, хотя, к сожалению, именно *он* слишком заметен сам по себе. И с каких это пор рукава пиджака из тонкого льна мужики стали поддерживать до локтей, точно парикмахер перед мытьем головы клиенту?

Да: из своей рожицы арабчонка, какие толпами бегают по мусорным пустырям Рамаллы или Хеврона, он выпестовал, вылепил неповторимого себя: экстравагантного, нарочито утонченного – один этот бритый череп египетского жреца чего стоит! А ухоженные, как у женщины, руки, непринужденно-рассеянно держащие карту вин! Поглядишь – так ничего, кроме нотных партий или джезвы с кофе им не приходилось переносить с места на место... Гедалья уговаривает меня «отказаться от этого неуправляемого молодчика с авемарией в зубах». Гедалья не прав. Ценность *авемарии* в том, что она подлинна, как подлинный бриллиант. Ведь самое драгоценное в любой легенде – отсутствие таковой, ее полное растворение в реальной жизни. Да, он сумасброден и непредсказуем, любит неоправданный риск (то, что он выкинул в Праге, вообще не поддается ни инструкциям, ни осмыслению: выбрав наблюдательным пунктом ювелирную лавку, изображал перед продавцами чокнутую старушенцию да еще выторговал браслетик и даже, кажется, напоследок спел им арию Керубино – то есть сделал все, чтобы остаться в памяти навеки: солист! бурные аплодисменты!).

Да, несмотря на небольшой рост, его отовсюду видно за полмили, а не только из четвертого ряда партера. Его страсть к преобразованиям и перевоплощениям (что ж, и у той – сценические истоки), как и сам его голос, наводит любого знакомого и незнакомого на неверные мысли о его сексуальных предпочтениях. Но и это неплохо: это опрокидывает все стереотипы о *наших* методах работы и, в конце концов, уводит от подозрений: ну кто с ним станет связываться, с *таким заметным*?.. И главное: как я был прав много лет назад, убедив Гедалью, что нашему «Кенарю руси» просто необходимо поучиться и пожить в России. А теперь – разве не чудесна строчка в его досье: «Выпускник Московской консерватории по классу вокала»? Разве не открывает его экзотический голос двери любых посольств, штаб-квартир, закрытых клубов и неприметных вилл, где происходят встречи, судьбоносные для целых регионов?

Да: дорогая одежда ему идет гораздо больше, чем грязная форма солдата спецназа после особо тяжелого задания, больше, чем затертые джинсы и потная футболка строительного рабочего в Хевроне, где однажды он *арабом* прожил три месяца в каменном бараке, ни разу не посетовав на *суровые условия жизни*.

Вообще, приятно видеть мальчика в зените благополучия.

Стоит ли его тревожить – в который раз?

Наконец явился молодой долговязый официант, с готовностью выхватил из кармашка фартука блокнот с карандашом...

...и Калдман не без удовольствия перешел на немецкий, домашний свой, родной – от матери и бабки – язык.

– Пожалуй, мы оба склоняемся к форели... Свежую форель трудно испортить, не так ли? Но прежде всего: что посоветует *Herr Ober* из вин – *Riesling* или *Grüner Veltliner*?

Его безукоризненное произношение ласкало слух: «s», звучащее как «з» в нормативном немецком, он произносил, как летящее «эс», подобно венским снобам, неуловимо растягивая следующую гласную: «саа-ген» вместо канонического «заген»². Это придавало гортанно бухающему немецкому вкрадчивое изящество.

– К форели я бы взял *вайс гешипритц*, – учтиво заметил официант. – Это наше домашнее белое, днем неплохо идет.

– Да-да, – поспешил вставить молодой человек. – Что-нибудь нетяжелое. Мне еще сегодня на прием...

Два-три мгновения Натан смотрел в спину официанту, огибавшему столики винтовым танцевальным пробегом. Наконец, отпустив эту извиняющуюся спину кружить по залу, повернулся к собеседнику:

– Вчера вечером нежданно-негаданно получил от тебя привет. Включил в номере «FM Classic» и попал на «Серенаду» Шуберта. И вроде, слышу, контратенор, да голос такой знакомый! Не может быть, думаю, с каких это пор ваш брат поет романтиков? Но уж когда ты *сфилитировал портамента* с до-диеза на фа, у меня все сомнения отпали: кроме тебя, некому. Bravo, Леон! Должен признаться, испытал высочайшее наслаждение.

– После «Серенады» шла «Баркарола»? – вскользь поинтересовался тот.

– Да-да. И тоже великолепно!

Леон удовлетворенно улыбнулся:

– Благодарю, ты мне льстишь.

Итак, Грюндль, старая сволочь! И двух недель не прошло, как вышел диск, а он (владелец студии и блестящий тонмейстер, чего не отнять) уже успел толкнуть запись на радио, авось не поймают! Ну да, «венская кровь» – чай, не немцы какие. Чего только не намешано в аборигенах «Голубого Дуная»: и легкомысленности французов, и очаровательной жуликоватости итальянцев («Поздоровался с румыном – пересчитай пальцы!» – фольклор-то одесский, а вот формула универсальна для всех гордых потомков Юлия Цезаря). Впрочем, в легкомысленности австрияков есть свои плюсы. К примеру, немец, пойманный на воровстве (что редко, но случается), упрется, как на допросе, и сколько его ни дави, не признается. А игристый Грюндль, дитя веселого Ринга, ежели его прижать хорошенько, вполне может и заплатить, лишь бы отстали. Ну и отлично, напустим на него Филиппа; в конце концов, это его агентский крест – давить прыщи на физиономиях жуликоватых продюсеров.

– Ты мне льстишь, Натан, – повторил он. – Я еще загоржусь.

² Говорить (нем.).

«Загордиться» от комплимента Натана Калдмана было немудрено: подобные знатоки классической музыки даже в среде профессионалов встречались нечасто.

– Какая там лесть... Скажу тебе откровенно: я прослезился, как старый осел, столько чувства было в твоём полуночном пении. И когда понял, что это именно ты звучишь... очарованным небесным странником, далеким от подлой грязи этого мира... – Натан включил все «европейские регистры» своего голоса; клочок левой брови завис над косящим глазом. – Словом, я принял это как личный подарок. Ты, конечно, не мог знать, что я слышу тебя, лежа на гостиничной койке с геморроидальной свечой в заднице. В это время ты, скорее всего, благополучно дрых, или пил коктейль на очередном светском рауте, или ублажал очередную телку, а? – Он вздохнул и прибавил совершенно по-детски: – Если б ты знал, как я люблю Шуберта.

– Кто ж его не любит, – покладисто отозвался Леон, то ли еще не учуяв подвоха, то ли просто не показав своей настороженности. Хотя насторожиться стоило: если старик затеял душевный разговор *о наших музыкальных баранах*, жди огро-омного сюрприза.

– Не скажи! – подхватил тот. – Велльпахер не последний в вашем деле человек, а в каком-то интервью признался, что Шуберту-Шуману предпочитает позднюю романтику: песни Брамса, Вольфа или Рихарда Штрауса.

– Так он же тенор, причем ближе к «ди форца». Контратенор в песнях Штрауса – злобная пародия... Ты бы все-таки снял пиджак? – заботливо повторил Леон. – Пока тебя удар не хватил. Похоже, он тесноват.

– Точно, я слегка поправился. И Магда отговаривала брать этот костюм. Но ты же знаешь мою слабость к почтенной благопристойности.

– Сними, сними. Наплюй на благопристойность.

– Кстати, все собирался спросить... – Калдман с облегчением выпрастывался из рукавов пиджака. – Нет ли у тебя в планах спеть «Der Hirt auf dem Felsen»?

– Что-о? Не смей меня. Господи, и придет же человеку в голову...

– Но почему нет! Музыка обворожительная, репертуар сопрано для тебя – как родной... – Натан бросил пиджак рядом на диван и лукаво вскинул косматые брови.

...а венчик седого пуха над лысиной – что нимб у святого, особенно на просвет, в янтарном ореоле от настольной лампы: этакая пародия на боженьку, нашего кроткого боженьку, самолично отрывавшего яйца неудачникам, перехваченным по пути на дело...

– ...а в паузах подыграл бы себе на кларнете – очень эффектно!

– Оставь. Мой *амбушюр* сдох давным-давно.

– Не верю!

– Ну, может, поплюй я в дудку месяц-другой часиков по десять в день, что-то бы и восстановилось... на уровне второго кларнета провинциальной российской оперы.

И с внезапной досадой понял: Натан завел свою обычную серенаду о вечном-нетленном *перед делом!* И как у гадалки в картах, это *всегда* — к дальней дороге и проклятым хлопотам. Гляньте-ка на мечтательного людоеда: кого он хочет перехитровать? Карл у Клары украл кораллы, забыв про собственный кларнет? Нет уж! Нет, черта с два! На сей раз – кончено.

Он не ошибся: обежав взглядом просторно развернутый в зеркалах и колоннах зал ресторана, постепенно заполнявшийся публикой (время обеденное, на официантов жалко смотреть, вентиляторы в недостижимой высоте потолка молотят лопастями душный воздух), Калдман проникновенно спросил:

– А ты замечал, насколько призрачен мажор в этих минорных пьесах – и в «Серенаде», и в «Баркароле»? Каким отзвуком нездешности он там вибрирует...

– М-м-м, допустим... – И нарочито безмятежным голосом: – Попробуй их булочки, они их сами пекут.

– Не задумывался – почему?

Ну, поехали... Барышня – вот кто был бы уместен за этим столом. Как и вся ее компашка во главе с незабвенным «Сашиком». Вот кого извлечь бы сейчас из вечности хотя б минут на десять. Проветрить и взбодрить, угостить форелью... Кстати, где эта чертова форель? Что-то сегодня они долгонышко возятся там, на кухне.

– *Ингелэ манс...*³

...а вот когда он переходит на идиш, тут караул кричи: несметная рать улетевших в дым поднимает свои истлевшие смычки и принимается оплакивать мир на бесплотных струнах... Господи, сколько можно извлекать этот старый фокус из одних и тех же до дыр протертых штанов!

– Певцу, *ингелэ манс*, следует напрягать не только связки, но изредка и мозги, – насмешливо-мягко продолжал Натан. – Все мелодическое обаяние Шуберта кроется в его свержидее, или, как говорят сегодня, в его *обсессии*: в неудержимом влечении к счастью.

– Ну почему же непременно – обсессия? – миролюбиво возразил Леон. *Главное, не расслабиться и не попасть в расставленные сети.* – Стремление к счастью естественно для любого человеческого существа.

– Ха! Гляньте, кто это говорит, и попробуйте позлить его в ближайшей подворотне – таки вы из нее не выползете! Именно, что обсессия, навязчивое влечение, то, что Дант называл *il disio*! Я скажу тебе, откуда этот мучительный восторг у подслеповатого толстяка в прохудившихся тужиках...

– ...и в разбитых очках, что для Шуберта уж и вовсе означало финансовую катастрофу, – жалостливым тоном подхватил Леон. Он стал раздражаться. – Так откуда же мучительный восторг у этого бледного недоноска, влачащего голодную жизнь в каморке на нетопленном чердаке?

– А ты не иронизируй. Вспомни историю Европы того периода, – терпеливо продолжал Калдман. – Отбушевала Французская революция, и за ничтожно короткий срок дважды сменились декорации: обезумевшая чернь снесла Бастилию, обезглавила венценосную особу и – «свобода-равенство-братство!» – запустила гильотину в бесперебойный режим работы. Не прошло и десятилетия, как Корсиканец замахнулся на перекройку мира. Коротышка заморочил даже гениального Бетховена, так что очарованный глухарь посвятил ему Третью симфонию...

– Натан, – что ты затеял, умоляю тебя, ближе к делу?

– Я призываю тебя вообразить эпоху!

– О'кей...

– Этот момент: стоило закончиться революционно-героическому кошмару, как маленький, никому не интересный обыватель остается наедине со своими горестями и мечтами. Есть такой немецкий роман: «Маленький человек, что же дальше?»... И вот тут-то – в тупой меттерниховской Вене, где торжествовали две сестры, тайная полиция и предварительная цензура, а невиннейший намек на вольномыслие пресекался на корню, – тут и выходит на сцену близорукий застенчивый толстячок, неприметный гений здешних мест. Он сбрасывает музыку с котурнов классицизма, чтобы – особенно в изумительных песнях – впервые с сочувствием взглянуть в обычного человека с его маленькими дешевыми радостями, с его печалью, и, главное, с мучительной страстью, которая ранит сердце, даже если... Послушай, ведь именно Шуберт, никто другой, распахнул клетку классического периода-восьмитакта, чтобы оттуда выпорхнула гибкая вольная мелодия, отражая тончайшие порывы человеческой души...

Едва ли не в восхищении Леон уставился на увлеченного Калдмана. Он бы решил, что тот подзудрил текст из какого-нибудь учебника по истории музыкальных форм и стилей, если б много раз не бывал свидетелем подобных восторженных и складных монологов. И если рассудить здраво, что в этом такого странного: пожилой интеллект, европеец до мозга

³ Мальчик мой... (*идиш*)

костей, утонченный любитель классической музыки, завсегдатай концертов, а в молодости и сам недурной пианист всего лишь излагает одну из любимых своих музыкальных теорий о любимом Шуберте.

М-да, недурной пианист – пока некие злые дяди в сирийской тюрьме Тадмор (а было это году в семьдесят третьем) не попытались сыграть его правой рукой довольно фальшивую пьесу по добыче информации, правда, безуспешно...

Боже, как избавиться от привычки видеть длинные тени за каждой фигурой, каждым жестом и каждым словом! Как забыть каменные заборы глухих рассветных улочек арабских городов, разгорающийся блик от восходящего солнца на крышке пустой консервной банки, перед которой ты шесть часов лежишь на земле в засаде, с вечным товарищем – пришитым к твоему брюху «галилем», – зная, что эта банка с этим бликом будут сниться тебе месяцами...

Как, наконец, избавиться от проклятой паранойи – всюду чуют бородастых стражей мертвенной мессы нескончаемого «Реквиема»!

– ...А душа-то его рвалась к счастью, – с мягкой грустью продолжал Калдман, подперев кулаком висок, – а молодая плоть требовала соития... Кстати, не исключено, что тот роковой визит в бордель, куда привел его друг-поэт, был у Шуберта первым опытом наслаждения. Подумать только: участь гения решила бледная спирохета! Знаешь, когда в его вещах звучит это неистовое и неизбывное стремление к счастью, у меня повышается давление и учащается пульс. Будто озоном дышу!

Блеснув глазами, Леон перебил с заботливой тревогой:

– В твоём возрасте это, пожалуй, опасно...

Калдман запнулся на миг, довольно хрюкнул и парировал:

– Свинья!

И вдруг изменился в лице: – Эт-то что ещё такое?

Между столиками с тяжелыми тарелками в расставленных руках – издали угадывались ломти форели, золотистые дольки картофеля и подрагивающие в такт шагам перья петрушки – пробиралась странная девица в слишком большом для нее жилете официанта, накинутом на белую футболку, и в джинсах с прорезами такой величины, что те выглядели просто бесполезной тряпкой на бедрах. Левая половина черепа обрита, на правой дыбом стоит немыслимый бурьян скрученных в сосульки, причудливо раскрашенных прядей. И все лицо – ноздри, брови, губы – пробито множеством серебряных колец и стрел, а хрящи маленьких ушей унизаны колечками так плотно, что кажутся механическими приставками к голове. Все это придавало выражению ее и без того напряженного лица нечто затравленно-дикарское. Бубна ей не хватает, вот что, мелькнуло у Леона. Девочка нафарширована железяками, как самопальная бомба.

Добравшись, она с явным облегчением опустила тяжелые тарелки на стол (и удивительно, что не бросила по дороге: у нее был вид человека, готового кинуться прочь в любую секунду).

– Э-э... благодарю вас... – обескураженно пробормотал Калдман. – *Entschuldigung*, а что наш э-э... *Herr Ober*, тот, что принял заказ? Он покинул этот мир?

Она переминалась у стола и переводила сосредоточенно-мучительный взгляд с одного лица на другое, причем смотрела не в глаза, а на губы, будто пыталась расшифровать несколько немудреных слов, к ней обращенных. Наверняка немецкий не был родным ее языком.

Но едва Леон открыл рот, чтобы обратиться к девушке на английском, она проговорила:

– Его несчастье... сынок упасть... разломать руку... Позвонили бежать домой. Просил меня заменять-принести...

И голос у нее был *дикарский* – трудный, хрипловатый, растягивающий слоги, инородный всем этим зеркалам, бронзовым лампам на столиках, мраморным колоннам с длинноухими фавнами в наверхиях, белому роялю на каплевидной эстраде.

Видать, у них там и впрямь стряслось нечто непредвиденное, подумал Леон, если они выпустили из подсобки эту золушку. Да и непредвиденного не нужно: летнее время, наплыв туристов, жара. Старушка Европа задыхается.

– Хорошо, спасибо, – мягко и отдельно проговорил он по-английски, пытаясь поймать ее взгляд, цепко вытягивающий слова из его шевелящихся губ. – Тогда принесите и вино. *Уайн, уайн!* Мы заказали «вайс гешпритц».

Она с явным облегчением вздохнула, закивала всеми своими колечками и торопливо ушла – невысокая, тонкорукая, в мешковатой майке и бесподобном модном рванье на бедрах.

– Ну и дела! – с изумлением проговорил Натан. – Приличное заведение... и вдруг такое чучело.

– У нее милое лицо, – возразил Леон. – Если освободить его от всех вериг...

– Ну брось! Неужели тебе могла бы понравиться такая женщина?

– Нет, конечно, – отозвался Леон. – Просто я сказал, что ее можно привести в порядок.

– Любую женщину можно привести в порядок, если вложить в нее какое-то количество денег... Уф! Я даже на секунду напрягся: ты видел, как она смотрела на нас? Точно несла не обед, а бомбу.

– Думаю, у нее вообще проблемы с окружающим миром.

– И в ней есть что-то азиатское. Дикая монгольская лошадка.

– Я бы сказал, в ней что-то от фаумских портретов: те же овалы чистых линий – если, конечно, отрешиться от железа.

– Не смей меня. Тоже, поднабрался на светских приемах у французских интеллектуалов! Обычная девчонка с какой-нибудь вшивой азиатской окраины. Вот вам нынешняя свобода Европы! «Железный занавес» им, видите ли, мешал. А теперь получите всеобщий бедлам и распишитесь.

– А ты скучаешь по старым добрым временам незабвенной Штази? – вскользь полюбопытствовал Леон.

– Я скучаю по старым добрым временам доинтернетовой эры, – вздохнул Калдман, заправляя льняную салфетку за воротник рубашки. – Когда для кражи секретных документов из охраняемых помещений требовалось гораздо больше времени и усилий. Ты слышал о прошлом деле в NDB?

Леон неопределенно качнул головой, сосредоточенно извлекая острием ножа мазок горчицы из фарфоровой баночки, разрисованной синими петухами.

– Швейцарцы, как обычно, предпочитают замять семейное дело, но поди замни в наше-то время полной проницаемости всех портков. Если коротко: грандиозная утечка секретных архивов. Терабайты информации, миллионы печатных страниц секретных материалов – важнейшие сведения, добытые разведками «Пяти глаз»...

– Есть подозреваемый?

– Да, некий «техник», якобы талантливый настолько, что имел «права администратора», то бишь неограниченный доступ к большей части сети NDB... Сюда совершенно не доходит дуновение от вентиляторов, Леон! – недовольно пробормотал Калдман, вновь осушая лоб салфеткой. – Мы на отшибе, поэтому нас игнорируют официанты. Боюсь, это самое неудачное место во всем зале.

– Но самое правильное.

– Да, – вынужден был согласиться Калдман. – Так «техник»... Работал там лет восемь и зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Короче, паренек обчистил серверы, уложил в рюкзак жесткие диски и беспрепятственно их вынес из правительственного здания.

– Собирался продать?

– Не знаю подробностей, расследование ведет офис федерального прокурора Швейцарии, а ты знаешь, как они чувствительны, – слоны на пуантах! Вроде считают, что он не успел передать данные заказчику...

Калдман искоса поглядывал на собеседника, на его руки, небольшие и вправду изящные, как у женщины, на завораживающие их движения: дирижер плавно завершает музыкальный период. За этими руками можно долго не отрываясь наблюдать: небольшой интимный спектакль в янтарном свете лампы Тиффани.

Несмотря на то, что Леон поддерживал разговор короткими точными репликами, Натану с каждой фразой становилось все очевиднее, что того не интересует ни кража секретных документов в NDB, ни вообще вся эта *их возня*. Глядя на Леона, трудно было избавиться от ощущения изрядного расстояния между ним и любым другим объектом: эффект перевернутого бинокля.

Надо сменить пластинку, озабоченно подумал Натан, пока он и вовсе не замкнулся. Не напирать, не торопиться... Впрочем, сегодня мальчик и на Шуберта не расщедрился. Он – сложный организм, и ты сам это знаешь. И, кажется, ему, наконец, надоели *все мы*. Все мы, *вместе со страной* и его собственной юностью. Как он сказал в прошлый раз? «Я – Голос!» – самым тоном подчеркивая дистанцию между ним, аристократом, и всеми нами, вонючими ищейками. Ах, ты – Голос, да еще с большой буквы? Пожалуй, это правда, и мне крыть нечем. Но подсушитесь в последний раз для своей страны и своего народа – между тремя, слов нет, божественными руладами...

Он улыбнулся и заговорщицки подмигнул Леону:

– Слушай, а что твоя подружка из Лугано? Ее звали... – сделал вид, что припоминает имя, – ...Маргаритой, кажется? Ты привозил ее к нам на Санторини, года... полтора назад, да? Синеглазая кудрявая шатенка, очень стильная девочка, носик, правда, длинноват и сама высоковата, я имею в виду – для тебя. И, кажется, слегка комплексовала по этому поводу, я не прав? Но ходила в туфельках без каблуков, что говорило о ее серьезных намерениях относительно тебя. Мне тогда казалось, у вас все *идет на крещендо к торжественной коде*...

Леон промолчал, намазывая масло на ломтик булки. Наконец невозмутимо произнес:

– Мы с Николь сохранили приятельские отношения. Я всегда оставляю ей лучшие билеты, когда пою в Лозанне или Женеве.

Тут бы старшему и угомониться. Но он продолжал:

– Жаль. Я уж полагал, что ты удачно пристроен. Она ведь не из простого дома, я не ошибся? Из тех родовитых итальянских семей в неприметной вилле на тенистой улочке в центре Лугано? Уютная вилла со скромной вывеской мало кому известного, но ворочающего триллионами банка. А в подвалах сейфы, не открывающиеся веками... В начале девяностых туда ежедневно мотались курьеры с чемоданами наличных. Кстати, не их ли банк связан с семьей Ельцина?.. Ну, не злись, не злись, *ингелэ манс!* Я просто любопытствую. Просто хотелось знать – кто завоевал сердце моего дорогого мальчика.

Леон поморщился – едва заметно, но так, чтобы Натан этого не упустил. С «дорогим мальчиком» старик явно переборщил. Или подзабыл за те полтора года, что они не виделись, как яростно охраняет «дорогой мальчик» все, что касается его личной жизни. Собственно, они там, *в конторе*, и отступились, когда стало ясно, что заставить его жениться, чтобы хоть как-то притушить странность этой одинокой фигуры, вечно окруженной *расстоянием*, как рвом с водой, так и не удастся.

Натан коснулся руки Леона своей широкой ладонью (на трех пальцах давным-давно отсутствовали ногти), и успокоительно, властно повторил:

– Не злись! Я отношусь к тебе, как к Меиру, потому и бесцеремонен, и лезу не в свои дела, и так же получаю по старой любопытной башке.

Тут надо было бы воскликнуть нечто вроде: *ну, что ты говоришь, я так ценю твое участие в моих делах*, – и прочее... Но молодой человек подчеркнуто уклонился от душевных прикосновений и взял небольшую паузу, употребив ее на то, чтобы извлечь из-под языка мелкую рыбью кость.

– Кстати, как Меир? – наконец спросил он. – Уже полковник?

Опять явилась кухонная замарашка, на сей раз в застегнутом жилете, с бутылкой домашнего белого в руке. Молча разлила по бокалам вино, преувеличенно осторожно наклоняя бутылку, обернутую салфеткой, провожая наклонную струю чуть вытянутой шеей...

...трогательной такой, едва ли не детской шейкой. Ау, девочка, вот и ты навсегда проплываешь мимо, удивленно подрагивая своим закольцованным лицом с фаямского портрета...

Две-три секунды она неуверенно топталась у стола, пока Калдман не отпустил ее ободряющей улыбкой.

– Так истерзать собственное лицо, чтобы оно напоминало решето... – Он покачал головой. – Это ведь больно, разве нет?

– Не больнее, чем вырванные ногти, – отозвался Леон, не глядя на руку Натана. Тот ничем не ответил на неожиданный выпад «дорогого мальчика», даже руку со скатерти не стянул, но, видимо, решил, что наконец выманил Леона из панциря и может приступить к следующему этапу. Во всяком случае, эта задиристая фраза, которую Калдман отметил еле заметной усмешкой, послужила своеобразным взмахом невидимой дирижерской палочки, после чего в легкой и ничем обоим не обязывающей беседе наступила длительная пауза. Впрочем, паузу было чем заполнить: форель оказалась изумительной – свежайшей, нежной, пряной...

...Такую вылавливают при тебе в ручье под деревенской харчевней «Даг аль а-Дан»⁴ на севере Израйля, недалеко от Рош-Пины. Сидишь ты за грубо сколоченным столом на дощатом помосте, перекинутом через настырное бормотание неугомонного ручья, а вокруг и под ногами бродят куры и петушки с такими радужными хвостами, будто их отлавливали по одному и раскрашивали вручную каждое перо. Декоративная порода, их разводят хозяева заведения – не для стола, а так, для забавы.

И в полдень всё в движении и кружении прыгучих сквозистых теней от виноградной кроны сверху, в солнечных хлопотах и свежем ветерке: прозрачные косы воды под дощатым помостом, босые шлепки подавальщиц, трех хозяйских дочерей-хохотушек, жареная форель, приплывшая к тебе на белой фаянсовой тарелке. И все вокруг – сладкое забытье, покой, плеск и щебет в знойной тишине: длинный шалфейный выдох Верхней Галилеи... Господи, неужели я когда-нибудь вернусь туда за своим именем...

Наконец Натан проговорил, обстоятельно, с неторопливым скупым изяществом отделяя ножом кусочки рыбы от костей:

– Да, Меир получил повышение, и серьезное повышение. Начальство, видишь ли, поощряет его личную Obsession: он ведь уверен, что в конечном счете мир спасется новой цивилизацией на другом технологическом уровне. Что касается меня, тебе известно мое мнение о «конечном счете», который всегда не в нашу пользу: шесть – ноль. В конечном счете все мы сдохнем, тем более что человечество прилагает к этому изрядные усилия. Но согласен – лучше позже, чем раньше. Короче, Меир одержим сверхидеей переброса всех наших войн в киберпространство. Замучил себя и всю семью. Пока не получил свою вожденную третью степень в Технионе, Габриэля и дети, а заодно и мы с его бедной матерью ходили по стеночке и боялись пукнуть!

Леон расхохотался и продолжал смеяться все веселее и заразительней.

⁴ «Рыба над Даном» (ивр.). Дан – название ручья.

– Ты чего? – поинтересовался Калдман, поневоле улыбаясь и любуясь его бесхитростным гоготом.

Жаль, что он так редко смеется. С его-то зубами, с этим счастливым высверком в ореховой смуглоте, с этим звенящим смехом небесного отрока! Любой другой рта бы не закрывал.

– Представил сейчас, как все вы построились у себя на вилле в Эйн-Кереме: ты с Магдой, Габриэла и близнецы, и даже малыш, и ждете навытяжку защиты докторской Меира, чтобы с облегчением выдать дружный залп.

Натан, посмеиваясь, наблюдал за мгновенной сменой выражений на лице Леона – выражений, которые сопрягались, переливаясь одно в другое или одно от другого отталкиваясь. Все же поразительна эта его особенность: сочетать в лице два абсолютно не сочетаемых чувства, например, веселья и неприязни. Натан однажды наблюдал его при случайной встрече с Габриэлой, когда в едином выражении на лице вспыхнули ненависть и ликование. Впрочем, для этого были свои причины – тогда; ну, а ныне *дети* и вовсе не встречаются.

Он выждал еще пару мгновений и продолжал:

– Короче, сейчас Меир собирает дошкольников для грядущего *онлайн-Армагеддона*... Того самого, что эти *поцы*⁵, газетные аналитики, называют «войной теней».

– Собирает дошкольников?!

– Ну, старшекласников, какая разница! Для меня все они – пришельцы, тыквоголовые, окольцованные... как вот эта девочка с *вооруженной мордашкой*. Короче, наш Меир пробил и создал новое подразделение, где эти юные хакеры, все – гении и специалисты в области взлома серверов, алгоритмов кодирования, отслеживания информации в цифровом потоке, короче, во всех этих милых затеях, – станут резвиться на полях сражений ближайшей кибервойны. Многие разработки настолько секретны, что о них даже нельзя упоминать, что, конечно, вовсе не указ нашим трепачам. На днях один деятель из кабинета министров в интервью чуть ли не «Таймс» порадовал *наших друзей* известием о создании нового вируса. Этот боевой червячок якобы не только считывает и передает информацию с жесткого диска, но и записывает телефонные разговоры в радиусе слышимости вокруг компьютера, и дарит желающим еще много всяких иных радостей. То есть на сегодняшний день мы имеем дело с неким совершенством вроде... ну, не знаю, – Венеры Милосской в мире искусства, уж не меньше.

– Я слышал кое-что, – скупно обронил Леон. – И все это – достижения школьников Меира?

– Во всяком случае, в последние недели у него торжествующий вид.

– Неплохо бы помнить, – заметил Леон с нейтральным лицом, – что эти штучки могут быть использованы не только против персов с их ядерными амбициями, но и против любого государства. Самыми уязвимыми могут оказаться именно самые развитые страны, а мы – в первую очередь. И изменили ситуацию как раз вот эти разработчики, вроде гениальных Меировых пацанов; эти маленькие боги с большим электронным фаллосом. То, что раньше было доступно лишь сверхдержавам, сегодня есть в распоряжении чуть ли не каждого бедуина. «Новые вызовы современности» – кажется, это их *слоган*?

Он не любит Меира, с давней печалью подумал Натан, и надо признать, у него для этого есть все основания. Интересно, как *сейчас* расценивает Габриэла свой школьный выбор?

Как раз на днях, случайно оказавшись на их с Меиром половине дома в поисках очередной необходимой вещицы вроде маникюрных ножниц (которые с редким постоянством утаскивают для своих игр близнецы, а возвращать и не думают), Натан увидел на письменном столе Габриэлы диск с ораторией «Блудный сын» – той самой, где Леон своим крылатым голосом небесной дивы расписывает запредельные пируэты...

⁵ «Поц» – хер (искаж. идиш).

...и как всегда, едва он вспоминал Леона или слышал первые такты звучания его голоса, тот возник в темном углу кухни: смуглый ангел в белой тоге, страшно кудрявый, с запущенной гривой мальчик с картины Рембрандта. Он молча стоял, ухватившись тонкой рукой за набалдашник деревянных перил (эта картинка всегда – по цепочке – вызывала еще одно видение: крошечная больная мама в ночной сорочке – мама была смуглой). Оба видения двоились, перетекали одно в другое, неизменно вызывая краткое сжатие сердечной мышцы.

В тот вечер Натан вернулся с севера, с места крушения двух боевых вертолетов – двадцать семь парней, двадцать семь отборных наших мальчиков, драгоценный генофонд, сгоревший, перемолотый в страшное месиво... Он на ногах не стоял, нарочно топал ботинками, чтобы напомнить себе о земле, о семье, о доме. И о том ударе о жестокую твердь, что раскрошил их черепа и позвоночники.

Поднявшись на крыльцо, отворил дверь, и первое, что увидел, – этого кудрявого ангела в белом... Потом уже и остальных детей – наряженных кто во что горазд. Но этот стоял поодаль и сам по себе: отрок, что-то нашептывающий Матфею, – только не с золотистой, а смоляной гривкой, с крутыми, грязноватыми на вид кудрями.

– Аба⁶, мы репетировали, – торопливо сказал Меир. – Мы сейчас разойдемся, прости, уже смотрели по телику – ужас!.. а как же они столкнулись, аба... ведь приборы...

Он прошел мимо них, все еще топая грязными ботинками, к лестнице (Магда убила бы, ее любимая лестница, красное дерево, набалдашники дурацкие).

Что тут поделать, если Леон всегда нравился ему гораздо больше, чем Меир. Нет, конечно, Меир – сын, поздний, единственный, ненаглядный сын, и любит Натан его, и гордится им, как дай боже любому отцу! Но вот это нравится... это такая хрупкая неуловимая штука. Это нравится, которому не прикажешь, которое не одернешь и в сейф не запрешь. Все очень сложно. Этот мальчик всегда нравился ему больше, чем родной сын, – странным сочетанием артистизма и замкнутости, способностью мгновенного и полного, на скаку «включения» в ситуацию, когда бесстрастность буквально скатывалась с лица, и такого же мгновенного «отключения», и тогда в его лице появлялось что-то от жестокой отрешенности дервиша. А сама его внешность – непонятно откуда? Посмотришь на его рыжую белокожую мамашу и поневоле задумаешься – уж не подкидыви ли этот Этингер?

Натан вздохнул и вновь заговорил о том, как молодеют – да нет, *юнеют* некоторые подразделения разведчастей. И это понятно: за последние двадцать лет методы работы спецслужб радикально изменились: сейчас все строится на технологиях тотального сканирования и фильтрации гигантских массивов информации. Мозги, мозги, молодые мозги, юное серое вещество, черт бы его побрал. Сегодня каждый желторотый засранец, каждый сопливый *поц* может беспрепятственно базланить, что *старой гвардии* пора в утиль...

– Иными словами: здесь больше не продается славянский шкаф и не висит клетка с канарейкой, – с чуть заметной иронией уточнил человек, чья кличка среди бывших коллег была, по определенным причинам, «Кенар руси».

Калдман доел, снял с воротника салфетку и аккуратно сложил ее на скатерти.

– У одного американского писателя есть книга о крестовом походе детей, – проговорил он. – В последние года два я ее то и дело вспоминаю. А вообще, ужасно хочется на покой.

– За чем же дело стало?

Старик помолчал, отодвинул тарелку с аккуратно обобраным форельным остовом, в котором было что-то от сухого осеннего листа. Задумчиво проинспектировал состояние лысины: на месте.

⁶ Папа (*ивр.*).

– Много думаю об Иммануэле, – сказал он просто. – Хотя сколько уже, как он умер, – лет пять?

– Семь в ноябре, – отозвался Леон и подумал: проверяет. Зачем? И сам прекрасно помнит, когда Иммануэль умер, и отлично знает, что я тоже помню. И не надоест же эта ежеминутная муштра и проверка всех вокруг. И сразу же сам себе задал вопрос: а может, он и есть то, что он есть, только благодаря этим яростным волчьим резцам, неутомимо треплющим слабые загровки родных, друзей, подчиненных?

На миг вспомнил Натан таким, каким впервые увидел: с серым застывшим лицом, в мокрой от пота рубашке. Натан буквально вывалился из дверцы армейского джипа, подкатившего к воротам дома, вошел в гостиную и остановился, невидящими глазами обводя компанию примолкших подростков, среди которых был его собственный сын Меир. Они что-то репетировали своим только что – за завтраком – созданным театральным кружком, поэтому и нарядились в разное тряпье, которое Меир нашел в кладовке за кухней. Леону достался длинный грязно-белый балахон, в котором Меиоров дед очищал от меда улы в своем кибуце, где-то в Верхней Галилее...

В тот день на учениях столкнулись два боевых вертолета, набитые отборными парашютистами спецназа. Натан, кажется, тогда был какой-то ишишкой в Геништабе, и можно лишь представить, что для него лично означали эти обломки и эти тела. Он стоял в холле, в полной тишине, уставясь на них ослепшим взглядом раскосого быка, вылетевшего на свет из загона. Меир что-то залопотал (он всегда побаивался отца; кажется, и сейчас в острые моменты придерживает язык по старой памяти, так что сказочка про то, как вся семья ходила по струнке в ожидании защиты его диссертации, может развлечь кого угодно, только не Леона) – и отец, ничего не ответив, молча затопал вниз по лестнице в глубины их странного перевернутого дома.

– В ноябре будет семь лет, – невозмутимо повторил Леон.

– Точно, – отозвался Калдман. – Знаешь, мне его страшно не хватает... Не могу смириться с тем, как его похоронили – тихо-благопристойно, как... как обычного продавца фалафеля или какого-нибудь банковского *пакида*⁷! – Он положил обе ладони на стол и медленно, тяжело развел их, двумя чугунными утюгами разглаживая крахмальную скатерть. – Это всё его семейка – дочь, сын... Мне кажется, под конец они даже стеснялись его. Мири позвонила мне буквально минут через десять после его кончины. Была уверена, что я стану «гнать торжественную волну» – это ее слова! – позвонила и попросила «тишины». Как тебе это нравится? «Тишины для Иммануэля!»! Этот человек, громогласный всей своей жизнью, у собственных детей не заслужил ничего, кроме «тишины». – Он горько усмехнулся: – И не удивительно, это удел крупных личностей: дети редко дотягивают до отцова масштаба и потому исподтишка мстят, когда старый лев оказывается в инвалидном кресле и уже не может, как прежде, перевернуть мир одной ладонью. Вот тогда они говорят: «Хватит, перестань, папа! Ты всё со своими идеями, папа... ты всё со своим прошлым, папа... хватит уже, папа!»

В его неожиданной запальчивости есть что-то сугубо личное, подумал Леон, будто он примеривает на свое не такое уж дальнее будущее некоторые сцены, прорабатывает ситуации, реплики... Предусмотрительность старого разведчика на домашнем полигоне.

Вслух он проговорил:

– Не преувеличивай. Никогда такого не замечал. При мне и Мири и Алекс вели себя вполне благопристойно. И как, по-твоему, его следовало хоронить – с воинскими почестями, на лафете, с оркестром и оружейными залпами? Какая разница, что делают с твоим телом после...

⁷ Чиновника (*иер.*).

– Нет! – Натан прихлопнул по столу широкой ладонью с тремя обезглавленными пальцами. – Нет! Человеку, благодаря которому государство выиграло свою главную битву – за право быть! – не отдать того, что ему причитается? Не назвать его именем улицу, площадь, школу?!

– Не уверен, что Иммануэлю хотелось бы всего этого, – заметил Леон. – Вовсе не уверен.

Он вспомнил старика *уже на колесах*, но по-прежнему властного и действительно – громкоголосого («У меня луженая глотка!» – хвастливым тоном), в любом разговоре шутиливо-острого. Вот кто не позволял и намека на сентиментальную пошлость, чувствительность или жалость – ни себе, ни окружающим. Да, под конец бывало, что он опять принимался рассказывать какую-нибудь свою давно известную историю, из-за чего Леон все их вызубрил наизусть; вполне возможно, что Мири или Алекс – престарелые его дети, со своими проблемами, болячками и нутьбой – когда-нибудь и могли сказать это самое *хватит, перестань, папа, уже все слышали эту майсу⁸ двести раз!*.. Но что правда, то правда: мир продолжал крутиться у колес его инвалидного транспорта не только потому, что алкал его миллионов. И два его преданных тайца, Винай и Тассна (*мои ужасные нубийцы*, называл он их фразой, вычитанной из какой-то дореволюционной книжки для юношества) всегда ненавязчиво и молчаливо присутствовали рядом для любых поручений. Их почему-то считали братьями, хотя они были очень разными: Тассна – высокий, жилистый и гибкий (его всегда хотелось назвать танцором, он и походку имел какую-то ритмичную, и, когда руки бывали свободны, постоянно прищелкивал пальцами, локтями покачивал, поводил плечами). Винай – тот покрепче был, ниже ростом, молчалив и как-то слишком уж цепок: возникал перед тобой внезапно и предупредительно – для любых просьб. Да: для любых поручений и затей.

А как они готовили всю эту морскую разно-преlestь – прекрасно подменяя один другого, как жонглеры с кеглями. Оба великолепные повара, так споро-весело щелкали ножами и тесаками по разделочным доскам, будто чечетку отбивали. И такими ловко-точными, любогодорого-движениями вбрасывали из ладони куски мяса на сковороду...

В их расчудесном меню было коронное блюдо: салат из холодной говядины. Подавался в широкой и плоской керамической чаше, непременно увенчанный произведением искусства: *луковой розой*, вырезанной Винаем из головки красного лука.

Считалось, что при них обо всем можно было говорить на иврите – они, мол, понимают только английский (хотя жили в доме Иммануэля последние лет десять). С ними, помнится, все говорили по-английски – прислуга, Мири и Алекс, все внуки Иммануэля и даже его молодая любовница – да-да, была и такая сомнительная фигура в парадоксальные последние годы старика. Недурная, кстати, фигурка, впоследствии *изгнанная в пустыню* из-за какой-то истории с кредитной карточкой Иммануэля... Кажется, она щедро оплачивала его расходы своего возлюбленного альфонса, а может, и целого ряда альфонсов, уходящих в зеркальную перспективу. И старик переживал «предательство», как юный брошенный тореро, сидел, нахохлившись, в своем кресле и в один из приездов не постеснялся с горькой ухмылкой сказать двадцатитрех-летнему Леону:

– А что прикажешь делать, если я все еще мужчина? – чем привел того в восторг.

Плывать, конечно, на все похоронные ритуалы и тем более на признание политических заслуг. Вот слушать истории Иммануэля, пусть и повторенные слово в слово, всегда было радостью... Как и просто сидеть у огромных колес его гениального кресла, выписанного по каталогу фирмы одного безумного изобретателя, впоследствии прогоревшего: Иммануэль обожал новшества и наверняка был единственным, кто заочно купил этот дикий, космический по виду агрегат.

⁸ Историю (*идиши*).

Свой дом в Савьоне он почему-то упорно называл «бунгало». В воображении Леона при слове «бунгало» возникала хлипкая приземистая постройка с камышовой крышей. Дом же Иммануэля, выстроенный им когда-то с горделивым размахом в стиле мексиканской гасиенды, хотя и был одноэтажным, но с четырехметровыми потолками, четырьмя великолепными колоннами у входа, с гигантским холлом, чья стеклянная раздвижная стена выходила прямо в просторное, обсаженное старыми пальмами патио с необычно глубоким, как озеро, бассейном.

Сколько же вечеров Леон просидел со стариком у этого бассейна, глядя, как струя электрического света из холла колыхнется на воде, скользит по стволам, перебирая вееристые листья пальм! Между пальмами расставлены широкие низкие кадки с кустами любимой стариком лаванды («Твоя убогая лаванда, папа! Давно пора посадить тут цветы...» – и цветы были посажены сразу после смерти Иммануэля).

Запах воды, смешанный с запахом лаванды, лунный свет на плитках пола; чувство *настоящего дома* – то, что со смертью старика утрачено даже в мечтах.

В двенадцать ночи у бассейна возникал один из «ужасных нубийцев» и уносил старика на спине – огромное кресло застревало в дверях спальни. Бывало, являлись вдвоем, ровно в двенадцать – в этом они были неумолимы. Иногда Иммануэль, не оборачиваясь, раздраженно поднимал ладонь, как бы приказывая оставаться на месте, пока он не попрощается с гостем. «Ужасные нубийцы» молча застывали минуты на три – в этом было нечто постановочно-голивудское, – после чего вновь спокойно и настойчиво подступались к старику. Он называл это «передислокацией к ночному горшку».

– Ты останешься ночевать? – каждый раз спрашивал старик уже вполоборота. Маленькая веснушчатая кисть выразительно «крутит штопор». – *Цуцик*, почему ты никогда не останешься ночевать? Я бы хотел однажды с тобой позавтракать. Что у тебя за вечные привычки полевого агента? Неужели тебе охота мчаться на ночь глядя в Иерусалим? Тебя ждет там женщина? Только ради женщины я мог вскочить и лететь бог знает куда... Но Леон не оставался у него ни разу, это правда.

Впрочем... стоп! Однажды он вломился к Иммануэлю ночью – той ночью, когда не убил Владку, слава богу; не убил мать, а просто выбежал из дому, прыгнул на мотоцикл и, выжигая предельную скорость, чуть не за полчаса примчался к Иммануэлю. Тот уже лежал в кровати, но еще не спал – читал в свете настольной лампы. И даже не вздрогнул, когда Леон возник в дверях. Просто молча смотрел поверх очков, как тот шагнул в комнату, рухнул на низкий пуф напротив и мучительно выхаркнул:

– Я – араб...

Тогда старик улыбнулся (и эту улыбку забыть невозможно, она парит над всей жизнью: конопатая старческая улыбка, отменяющая вздор, пошлость и жестокость этого мира), помолчал, легонько кивая каким-то своим мыслям, и домашним уютным тоном, сминающим мотоциклетный надрыв, задумчиво проговорил:

– Так вот от кого она тебя родила...

Итак, два верных «ужасных нубийца» уносили старика на плечах... Прежде чем пересечь холл и по мраморным ступеням спуститься в ночной сад, изысканно подсвеченный фонариками, Леон несколько мгновений стоял и смотрел вслед этой процессии: в ней было что-то из обихода цезарей...

Когда они оставались вдвоем, Иммануэль переходил на русский. Великая штука – родной язык, говорил он, черт бы его побрал! Родной язык... его хочется держать во рту и посасывать слоги, как дегустатор слагает подробности аромата винного букета, лаская его послевкусие.

Хочется ворочать камешки согласных между щек, а гласные глотать по капле, и чтобы смысл иных слов уходил глубоко в землю, как весенние ливни в горах...

Он по-прежнему много читал по-русски, поэтому сохранил язык, хотя говорил с небольшим акцентом, но говорил ярко, запальчиво, иногда неуместно-цветисто, немного книжно, пересыпая вполне культурный текст занозистыми харьковскими словечками и ругательствами: «саявка», «ракло», «раклица»...

Так вот, байки Иммануэля. Особенно та, молитвенно-бордельная, под летящим косым венецианским снегом:

– В ноябре сорок седьмого, суч-потрох, да! В ту осень ООН приняла резолюцию о создании государства: ноябрь сорок седьмого. Как топором по шее! И башка моя слетела к чертям – я был счастлив, суч-потрох! Мы с Шифрой тогда приехали из Лондона в Париж проведать Алекса – ему исполнилось тринадцать, он учился в закрытом пансионе, который стоил нам кучу денег. Но я никогда не думал о деньгах. Я всю жизнь делал их, и порой делал из ничего, но никогда им не служил и не позволял, чтобы они как-то влияли на мое отношение к близким и друзьям, да и к себе самому. Короче, это был самый счастливый день моей жизни – когда я узнал, что у нас будет своя Страна... И сразу же тут началась бойня – арабы не могли допустить подобного оскорбления, мы были как чирей у них на заднице – и не сядешь, и не вырежешь. А мы были голы и босы в своем торжестве, и чресла препоясаны ветошью... Ну, не совсем, конечно, ветошью – Хагана перед этим уже подсобрала оружия, но все оно было таким пестрым – и по калибрам, и по моделям, и по возрасту: финские «суоми», американские «томпсоны», британские «стэны» – их покупали у арабских контрабандистов или просто воровали с британских складов... Но этого было недостаточно! Арабская саранча прет со всех сторон, а у нас кривая берданка и фанерный грузовичок, суч-потрох! Плюс эмбарго на поставку оружия в наши края, которое поспешили наложить американцы, – лучше бы они в штаны себе наложили! А, скажу тебе, к тому времени я месяца три уже как был стерлинговым миллионером – благодаря той исключительной афере с закупкой хлопка в Египте. Я тебе о ней рассказывал? Так послушай еще раз, это просто менуэт, сарабанда, мазурка! В Палестине были текстильные предприятия, но не было пряжи. Зато в Египте было столько хлопка, что там не знали, куда его девать, хоть подтирайся им. Ну, а в Италии – ты следишь за пируэтом? – в Италии Муссолини перед войной создал мощную текстильную промышленность. Так что я сложил два и два, впендюрил в дело весь мой капитал – на тот день у меня было аж восемь тысяч фунтов стерлингов! – и запустил этот маховик: сырье из Египта в Италию, из Италии пряжу – в Палестину, контрабандой. Разворот, поклон, пары сходятся... Риск был колоссальный! Почтенные деловики смотрели на меня, как на олуха царя небесного, пальцами крутили у виска. Но уже в апреле сорок шестого я был тем, чем был, – коротышкой с миллионом в кармане. Правда, только с единственным миллионом, но это казалось огромными деньгами, и я *сам себе* выглядел королем и даже чуток подрос, а? А тут – своя Страна, и своя война, и своя кровь льется такой широкой рекой, что эта самая страна вот-вот захлебнется. Я был как одержимый: ехать, сражаться, суч-потрох!.. Но мне нашли другое применение. Мне позвонили ночью. Причем, не застав меня в отеле, обзвонили по цепочке всех моих знакомых и – это я узнал позже – прочесали все зланные места, где я любил тогда бывать: в «Ля Куполь», и «Ле Дом» и «Ля Тур д'Аржан». Но накрыли меня в «Мерисе»... Это был один из самых шикарных ресторанов: в отеле «Мерис». Там подавали дивную рыбу – тюрбо, например, – ну, и омаров, лангустов и отличных устриц... Почему помню так ясно? Потому что встретил там Дали. Он любил останавливаться в «Мерисе» и частенько там же обедал – деньжата у него водились, папаша его был небедным человеком...

...Кстати, я рассказывал тебе, *цуцик*, что был на том знаменитом обеде у Поля Элюара и Макса Эрнста, с которого Дали увел Галу? И Эрнст и Элюар в то время жили с ней – оба.

Такие связи были не то что приняты, но как-то вполне проглатывались обществом. Дали был приглашен туда среди прочих и, отобедав, преспокойно увел Галу – навсегда.

Так вот, как только я приметил их в «Мерисе», мне стало интересно, что заказывает себе в подобных заведениях такой чокнутый оригинал. Между прочим, никогда не считал его хорошим художником. Он был шоуменом, клоуном, возмутителем нравов, но, в конечном счете, прежде всего расчетливым дельцом... Я поднялся и направился в мужскую комнату мимо их столика – я был страшно любопытен. Гала разделялась с устрицами, Дали ел йогурт! Ложечкой. Между прочим, к твоему сведению, йогурты во Франции появились с легкой руки некоего Исаака Карассо и поначалу продавались в аптеках – индустрия возникла позже, компания называлась «Данон»... Так вот, когда я вернулся из мужской комнаты, ко мне подошел официант и пригласил к телефону. Звонил Ицхак Бен-Цви, один из тех, кто тогда метался в Палестине от одной брешки к другой, пытаясь закрыть их чуть ли не собственным телом. Он был дико напряжен, усталый, взвинченный. Сказал: Иммануэль, срочно нужны деньги на закупку оружия. Русские дали добро, хотя прямые поставки из Москвы исключены. Оно пойдет из Чехословакии, оружие – частью трофейное, германских образцов.

Я подумал: что за дивная шутка нашего Боженьки – дать нам в руки бесхозное нацистское оружие, чтобы мы сражались им *за свою страну*.

– У меня на счету только миллион, – сказал я. – Сколько вам нужно?

Он воскликнул:

– И ты спрашиваешь?! Есть миллион – значит, понадобится как раз миллион...

Я сказал ему, что не могу такие вопросы решать один и должен посоветоваться с Шифрой. И сразу же позвонил ей в отель. Она спала – она вообще не была любительницей ночных ресторанов и спать укладывалась рано.

– Шифра, сердце мое, – сказал я. – Мне необходимо снять со счета все наши деньги... Она спросила заспанным голосом:

– И для этого ты разбудил меня среди ночи? Ты что, забыл номер нашего швейцарского счета, Иммануэль?

Вот какая это была женщина – моя Шифра: благородство, широта и... и полное отсутствие ревности! Да! После войны Европа была просто огромной свалкой оружия, в большинстве своем трофейного, нацистского. Ходи и подбирай, только плати, конечно, плати и плати! В те годы я мог любое дело прокрутить. Идеи распирали черепушку, а энергии было столько, что частенько я куролесил трое суток без сна, а на четвертые лишь удивлялся, почему кофе уже не слишком меня бодрит. И машина завертелась, и я был счастлив, суч-потрох! Я был в своей стихии! Знаешь, я втайне всегда считал себя человеком криминального сознания, не смейся! Так вот, моей задачей была режиссура: фальшивые документы, встречи с нужными людьми, покупка списанных посуды – этим мы промышляли в портах Греции... Та еще карусель крутилась: оружие из Чехословакии загружалось в югославском Сплите, экипаж сколачивали из итальянцев. Уже первый пароход вез в Тель-Авив шестьсот тонн оружия. Мы рассовали его по разным грузам в разобранном виде: в компрессоры, бетономешалки, катки... И Бог был на нашей стороне – Ему, видимо, до зарезу понадобился в личное владение этот клочок земли; как говорил мой харьковский дед, «иметь куда поставить ногу»... Это было дело, серьезное дело: первый же контракт – пять тысяч винтовок, двадцать пулеметов, пять миллионов патронов, даже два *почти* «мессершмитта»... Спроси меня: почему – *почти*? Просто они собирались в Чехословакии из разрозненных узлов от германских истребителей, и двигатели на них пришлось ставить менее мощные. Кроме того, я умудрился закупить в Великобритании четыре истребителя «бофайтер»! Спроси меня – как? От имени новозеландской кинокомпании: «Уважаемый сэр, для съемок фильма о подвигах новозеландских летчиков в войне на Тихом океане...» – до сих пор горжусь этой легендой.

Но однажды, не помню уже – почему, крупную партию винтовок, пулеметов и гранат я отправлял пароходом из порта Венеции. И был очень беспокоен: время зимнее, море опасное, а посудина – двести раз перелатанная халабуда. Имя ей было «Победительница Адель», ни больше ни меньше, суч-потрох, и выглядела она в точности как пожилая шлюха из нахичеванского борделя после урожайной ночи.

И вот я стоял на причале венецианского порта в пять утра, в длинном теплом пальто с поднятым воротником, и смотрел, как команда отдает швартовы и как, кренясь на волнах, «Победительница Адель» колченогой шлюхой удаляется в зимний туман лагуны. Пошел снег, а я забыл шляпу в отеле. В считанные минуты моя шевелюра (ты веришь, что когда-то у меня была недурная рыжая шевелюра?) осела под копной мокрого снега...

И когда, зарываясь носом в свинцовые воды лагуны, пароход скрылся из виду, я понял, что должен помолиться за его благополучное прибытие! Но до гетто было далеко, а тащиться через весь город к еврейскому Богу даже за таким важным делом... Я оглянулся и увидел, что на углу площади служка в коричневой рясе с капюшоном отворяет двери церквушки. И подумал – если Бог есть, он есть всюду. И вошел, и помолился, и – суч-потрох! трижды суч-потрох!!! – корабль таки дошел!

* * *

На эстраду скользнул пианист – узкий, как змейка, одетый в тон роялю: в белые джинсы, светлую майку. Даже волосы его, цвета густых сливок, выглядели, как подкрашенные. И незаметно, вначале *пианиссимо*, затем чуть настойчивей зазвучало попури из мелодий Гудмена, Бернштейна, Копленда – все меланхоличные и расслабляющие. В этом заведении музыка не должна была ни задевать, ни вторгаться в разговоры обедающих. Спокойный уютный фон, не более того.

Леон смотрел на невозмутимого, будто стерильного джазиста, развлекавшего прохладным дневным джазом ресторанную публику, а видел Дикого Ури, ударника в джазовом трио, что въезивал в крошечном клубе на задворках иерусалимского района Бако.

Религиозный еврей в традиционном прикиде, включая шляпу, лохматые пейсы, обширную дику бороду, не знавшую бритвы, и свисавшие вдоль колен длинные нити нагрудного талеса. В дни, когда он «сидел на ударе», в двадцатиметровую комнату клуба набивалось столько желающих его послушать, что трудно было вздохнуть. Все стояли, потому что так втискивалось больше народу, – стояли впритирку друг к другу и ждали солоимпровизации Дикого Ури.

После длинного любовного изъяснения очень недурного саксофона Ури брал крошечную тревожную паузу... и вступал!

Главным плацдармом его летающих, грозных и хлестких, мягких и нежных рук был огромный барабан, который в наших краях называют «тарабукой». Что эти руки вытворяли! Гром и плеск, шепот и дробот, чечетка, шорох и ласка, и даже невероятное – звук льющейся воды, а также звонкие голоса птиц, сон, дуновение ветра, умирание последнего луча... И вдруг – шквал налетевшей грозы: удары безжалостного грома, треск падающих деревьев, столпотворение, вопли, битва в конце времен – и ослепительный конец света в медном ореоле двух грянувших друг о друга тарелок, которые Дикий Ури как бы отшвыривал от себя в неистовом прощании с миром...

– Ты чему улыбаешься? – спросил Натан.

– Да так... Вспомнил случай, когда Иммануэль молился в венецианской церкви за благополучный рейс «Победительницы Адели»... Если не ошибаюсь, после молитвы он отправился в бордель?

Натан хмыкнул.

– Причем можно поспорить, что сделал раньше. Мне он говорил: «Я так нервничал, доползет ли до наших палестин эта старая калоша... Необходимо было отвлечься».

– Я вот только не в курсе, – все так же, на улыбке продолжал Леон безмятежным тоном, – занимался он оружием в последние годы? Он ведь успешно вкладывал деньги в самые разные проекты, а? Были среди них... э-э... стратегические?

Интересно, подумал Калдман, почему он заговорил именно о стратегических проектах Иммануэля? Я ведь ни словом... Чертовское чувствовалище! Неужели сразу понял, что...

Вслух он сказал:

– А я бы не прочь выпить кофе, если удастся высвистать *нашу вооруженную девицу*. И впредь умоляю тебя навещать этот семейный мемориум без меня.

Леон засмеялся и поднял руку, пытаясь привлечь внимание кого-нибудь из запаренных официантов.

– Что касается оружия, – продолжал Натан, якобы отзываясь на вопрос, но, как обычно, уклоняясь от прямого ответа, – так оно и сейчас течет рекой, вот разве уже не совсем к нам, и нам уже не очень этого хочется.

– На днях заглянул в «Вашингтон пост» и читаю: «Мы озабочены тем, что оружие из Ливии и Ирана с угрожающей скоростью распространяется в Сирию, Египет, в Ливан, на Синай и в Газу...» – кажется, так. «Мы» – это ООН. Очередной доклад.

– ООН... пф-ф! – фыркнул Натан. – *Эти-то* перманентно в стадии «озабоченности». Такая рыхлая старая вдовица в Альцгеймере, не способная шевельнуть ни одной конечностью, даже когда вонючий сброд волочет по улицам Бенгази посла великой державы, на каждом углу насилюя его, уже мертвого... Вот теперь западные говнюки нюхнули аромат цветочков милой их сердцу «арабской весны», к которой сами приложили лапу. Они еще не представляют себе ее зрелые яблочки. Впрочем, им уже и деться некуда: что бы они сейчас ни предприняли, конец один – гибель очередного великого, глупого, высокомерного и развращенного Рима... Неплохо играет, а? – заметил Натан, кивая на рояль. – Но и он, бедняга, смотри, как потеет...

Леон улыбнулся, в который раз дивясь наблюдательности Натана. Пианист и правда потел и в паузах пользовался платком, тоже, кстати, белым. Доставал его откуда-то из-под зада, вытирал потный лоб и опять подсовывал то под правую, то под левую ягодицу, хотя мог положить и на рояль – это было бы куда приличнее. Сам Леон заметил манипуляции с платком под задницей во второе свое посещение кафе и в гораздо более созерцательной обстановке. От Калдмана же, в каком бы напряжении он ни был, никогда не ускользали движения, жесты и даже взгляды окружающих в радиусе нескольких метров.

– Вообще же, у нас все по-прежнему, – продолжал Натан. – Говоришь – «Вашингтон пост». Странно, что ты еще просматриваешь прессу. Не удивлюсь, если ты вообще перестал следить за новостями, после того как *похерил старых друзей*...

Выдержал паузу в ожидании реакции собеседника, не дождался и подхватил нить собственных слов:

– И правильно! Ближний Восток – гниющая куча падали. Персы в свое удовольствие фаршируют оружием «Хизбаллу» и ХАМАС, шииты по традиции режут суннитов и наоборот; саудиты, салафиты и «Братья-мусульмане» грызутся за сферы влияния в странах Персидского залива... Что еще? Так, мелочи: глобализация джихада, подготовка боевиков в каждой подворотне, каждая новая группировка объявляет главную богоугодную цель: стереть нас с карты мира. При этом в сирийской резне уже погибло втрое больше арабов, чем за все наши с ними

войны, но, как говорила моя бабушка, «кому мешают ваши маленькие семейные радости?»... – Он вздохнул: – Ненависть, мракобесие и крошечный ужас. Видал вчерашнюю новость: чик-чик, и голова британского полицейского падает на травку ухоженного газона: «Я стрижу свою траву уже триста лет, сэр!» – «А мы, сэр, отныне будем стричь ваши *гяурские бошки*»...

Калдман бросил взгляд на левое запястье, решив, что еще минуту-другую можно отдать на *светские новости*. И тем же легким, светлым, слегка рассеянным тоном продолжал:

– Ну, и прочие приятные вести: медики «Аль-Каиды» в ближайшем будущем навестятся имплантировать *пентрит* в задницу очередному шахиду: взрывайся, родной, на здоровье. Талантливые ребята! Пентрит не в состоянии обнаружить ни один сканер в аэропорту. Вспомни покушение на главу саудовской разведки, на этого принца, как его, Мухаммада бин Наифа, к которому подослали молодчика с бомбой в жоке. Или этот «рождественский террорист», что пронес бомбу в трусах? Я уж не говорю о персах, об их веселых центрифугах: при новом президенте Иран делает свою атомную бомбу с улыбкой, и он ее сделает, помяни мое слово.

– Но американцы...

Калдман раздраженно махнул рукой:

– Американцы ни черта не понимают в персах и никогда не понимали! Персы – это две с половиной тысячи лет великой империи! Это не индейцы, продавшие Манхэттен за нитку бус. Персы торгуют коврами две тысячи лет! И чем их хотят купить эти западные дикари в смокингах? Сейчас, когда бомба есть у Индии, Китая, России и даже у проклятого Израиля, персы – и я их понимаю! – обуяны стремлением взять реванш в нашем регионе.

Он наклонился к Леону и внятно произнес:

– Персы не идиоты, а ядерная конфетка – их национальная идея! Всего-навсего – национальная идея... – Машинально obeжал взглядом зал и мрачно добавил: – А против национальной идеи не попрешь.

– Ну, положим, мы время от времени чешем их иранские пятки, – сдержанно возразил Леон. – Разве у них не гаснут лампочки в сортирах? А с научными их ребятами разве не происходят досадные оплошности?

Калдман растянул свою людоедскую пасть в широкую улыбку и дружеским тоном заметил:

– Я рад, что ты заглядываешь не только в ноты. Тем более что тебе передает заочный горячий привет наш главный чесальщик иранских пяток, твой дружок Шаули.

Вдруг вынырнул давешний официант: с расстроенным бледным лицом, но уже в униформе, уже на рабочем посту. И Натан вновь перешел на немецкий.

– Нам сказали, ваш сынишка... надеюсь, он не?... О, что вы говорите, *oh, es tut uns Leid für Ihren Bub*, бедняжка, бедняжка... Будем уповать на то, что в его возрасте кости быстро срастаются. И кто из нас вырос без переломов!

О да, и кому из нас не ломали пальцы в обычном слесарном инструменте под названием «тиски»...

– *Danke, Herr*, – растроганно проговорил официант, забирая тарелки, – *das ist sehr nett von Ihnen*⁹.

Заказали кофе: Натан, как обычно, двойной черный, Леон – капучино, здесь его подавали с такой роскошной толстенной пенкой, кропанной коричневыми веснушками, что поиски собственно кофейной жидкости становились задачей до известной степени археологической. Ну и десерт, как без него.

⁹ Благодарю вас, вы очень внимательны (*нем.*).

– Может, довольно с нас? – спросил Калдман, с сомнением изучая картинки тортов и коктейлей в десертном меню. – Их пирожные выглядят устрашающе: Монблан в облаках.

Диабета у него еще не было, но уровень сахара уже перевалил за тот показатель, когда пожилой человек просто обязан призвать себя к порядку.

– Нет уж, – воспротивился Леон. – Игнорировать здешнюю выпечку – дурной тон! Возьми вот эту штуку: «Кардинал шнитте», это светлое тесто со взбитым воздушным кремом и прослойкой варенья. Грандиозное достижение европейской мысли. А я, пожалуй... Я, так и быть, остановлюсь на скромном «Апфельштруделе». Тоже неплох. Правда, моя любимая прабабка готовила его в пять раз вкуснее.

– Та, которая играла Крейслера?

– Не та. Другая. Более гениальная...

И долго, подробно обсуждал с официантом детали *кондитории*.

Слишком долго...

Нет, Калдман не торопился. Собственно, в данный момент он занимался наиважнейшим делом, ради которого на сутки прибыл в этот летний прелестный город, в этот трижды проклятый всею его семьей лучший город в Европе. Да: у Калдмана времени было хоть отбавляй. Но *этот... этот* в любой момент мог заявить, что его заждались в очередном чертовом посольстве, вскочить и смыться, и поминай как звали: жокей в седле, верткий матадор в миллиметре от бычьих рогов... Мобильные телефоны он любит примерно так же, как часы на руке. «Скайп» тоже не жалуется. В своей парижской квартире крайне редко снимает трубку телефона, уговорившись со своим оперным агентом о каких-то условных звонках – то ли два подряд, то ли один и три...

Короче, сильно тормозить не стоило. Стоило ковать железо, пока само оно еще не ощутило первых ударовковки.

– Ну, слава богу, кофе к нам прискачет не на монгольской лошадке, – сказал Калдман и мечтательно улыбнулся. – Кстати, помнишь, какой дивный кофе варили эти ребята, «ужасные нубийцы» Иммануэля... Я забыл, как их звали?

Все ты помнишь, подумал Леон, все ты помнишь, старый косой комедиант с вырванными ногтями. Вслух невозмутимо произнес:

– Тассна и Винай.

– Да-да, причем и то и другое имя что-то означает?

– Тассна – «наблюдение», Винай – «дисциплина».

– Точно! – воскликнул Натан, прищелкнув пальцами. – Говорящие имена...

Подумал: «Ну и память у этого засранца! Еще бы – привык заучивать миллионы нотных знаков и миллионы иностранных слов».

– Наблюдение и дисциплина, да... После смерти Иммануэля они так растерялись, так были огорчены, что предпочли возвратиться домой, в Таиланд. Хотя могли наняться к кому угодно: семья Иммануэля дала бы им блестящие рекомендации.

– С чего бы им так расстраиваться? – пожал плечами Леон. – Они надеялись, что Иммануэль проживет еще сто пятьдесят лет? Он и так прожил мафусаилов век: девяносто восемь, человек может лишь мечтать о подобном.

Натан промолчал. Он умел выразительно и многозначительно молчать, так, что любой собеседник, любой подчиненный и даже собственный сын принимались судорожно инспектировать свою предыдущую фразу, мысленно паникуя – не допущена ли ошибка, пусть даже в интонации. Любой, только не Леон. Он был сыт по горло наработанными приемами Калдмана, которые даже Магда называла «штучками». Ведь Леон, в сущности, вырос у них в доме и уж там-то оставался ночевать бесчисленное количество раз, вплоть до той последней, той окаян-

ной ночи, которая так и осталась Главной Ночью всей его жизни, черной настолько, сладкой настолько, что бедняга Шуберт с его неистовым стремлением к счастью имел шансы лишь на второе место.

На почетную серебряную медаль.

С рассеянной полуулыбкой Леон слушал прозрачные водовороты пассажей, струящиеся из-под рук пианиста... Тупик в разговоре. Темная подворотня. И дальше – пара мусорных баков.

Аккуратно промокнув уголки рта льняной салфеткой, Калдман будто невзначай спросил: – А тебе приходилось петь в Бангкоке?

На что Леон резко вскинул голову (движение взнузданного жеребца), и – в ровном ресторанном шумке, в синкопах тихого джазового ручья – повисло между ними его оглушительное враждебное молчание.

Ай-яй-яй, незадача: хотел спросить как бы вскользь, а вышло в лоб. Темная подворотня, мусорные баки... Этот чертов певун никогда не позволяет втягивать себя в чужие игры. Вот и сейчас его черные непроницаемые глаза будто держат оборону. Выждав пару мгновений, тем же чуть ли не элегическим тоном – пропадать, так с музыкой – Калдман продолжил:

– А хорошо бы выступить! Кое-кто готов тебе *аккомпанировать*. В любом дуэте важна чуткость и... *наблюдательность*, ты так сказал?

– «Наблюдение», – хмуро и озадаченно поправил Леон.

Вот оно что... Выходит, Тассна был нами завербован? И после смерти Иммануэля отправлен на место возможных будущих событий, если, конечно, еще пять лет назад кто-то мог предположить террористическую «активность» в этом-то раю, в идиллическом Таиланде. Странный выбор, честно говоря. Впрочем, если вспомнить, до какой степени Иммануэль доверял этим парням... Всегда доверяешь сильным рукам, на которые в старости опираешься изо дня в день. Добротная работа, ничего не скажешь. Интересно, эта вербовка... они ее провернули еще при жизни Иммануэля? И знал ли он? А может, и сам сыграл в пьесе некую роль – все же человек он был осведомленный, весьма осведомленный, хотя... хотя и очень старый. Что ж, в любом случае этот шаг оказался дальновидным, как показывают недавние события в Бангкоке; разве не с нашей подачи тайландцы перехватили троих ребят из иранского КСИРа – правда, те так бездарно обращались со взрывчаткой, что сами себя преподнесли на блюдечке. Вслух он заметил:

– Что значит – предусмотрительность... Тебя можно поздравить. Но я тут при чем? У вас там наверняка сидит оркестр, укомплектованный высококлассными исполнителями. А я давно не в штате, у меня на три года вперед подписаны контракты на выступления, довольно плотное расписание в «Опера Бастий», куча записей на RFI...

– Не накаляйся, – улыбнулся Калдман. И помолчав, чуть ли не с нежностью: – Не накаляйся, *ингелэ манс*... Ты же знаешь – никто и никогда не посмеет ворваться без твоего согласия в твою налаженную жизнь. Просто... ведь и у тебя бывают отпуска? А ты, помнится, увлекался серфингом, яхтингом? И этим... дайвингом? И занял первое место в соревнованиях юных, этих самых... в регате?

– Третье, – поправил Леон. – Всего лишь третье.

– Ну вот, – подхватил Калдман. – А по нашим сведениям, на тамошних островах самые удобные для всех этих э-э... глупостей... побережья.

...После чего к ним выплыли две большие белые тарелки с такими вавилонскими зиккуратами, что вздох застревал в горле восхищенного клиента.

– Ах, будь я проклят! – по-немецки воскликнул Натан, энергично потирая руки и подмигивая официанту, а заодно и Леону.

Идиотские компанейские ужимки. Перебарщиваешь...

Когда официант отошел, Калдман вновь взглянул на часы и мысленно кивнул самому себе: самое время приступить к делу. Отодвинув тарелку с великолепным сооружением кондитерского искусства, извлек из кармана брюк сложенную вчетверо газетную вырезку, расправил ее (маникюрными ножницами вырезал, кривыми, зачем-то отметил Леон мелковолнистую линию отреза) и другим уже тоном, совершенно другим – своим, а не пошло-бархатным голосом, проговорил:

– Прочти. *Забавно*. Из «Маарива».

Положил на стол и придвинул к тарелке Леона.

Тот молча пробежал глазами заголовок:

«Израильская компания продавала шпионское оборудование в Иран»

Обычная газетная практика: прежде всего – заглавие-плевок, заглавие-пощечина, обухом по голове. Тоже профессия – журналистика: главное, проорать погромче, провизжаться, заблевать все вокруг, а там уж, в случае чего, и извиниться можно, даже компенсацию за клевету выплатить... Та-ак, и что ж такого *забавного* мы *толкнули* нашим врагам?..

По сообщению новостного агентства NRG (со ссылкой на *Bloomberg*), в течение долгого времени израильская компания *Miracle Systems Ltd.* продавала оборудование в Иран. Речь идет о самом высокотехнологичном оборудовании, позволяющем следить за операциями в Интернете. Торговля между израильской компанией и Ираном проходила при помощи посредника в Таиланде. Товар поставляли в Бангкок, где сотрудники фирмы снимали с него все бирки и печати, свидетельствующие о том, что его произвели в Израиле, и переправляли в Исламскую Республику. Совет директоров компании *Miracle Systems Ltd.* заявил, что не имеет ни малейшего понятия, как оборудование фирмы попало в Иран.

Ну, что ж, контора пишет... Вполне вероятно, что данная компания – наш троянский конь, подстава для внедрения в Иран шпионского оборудования, из тех, что заражает иранские компьютеры трудолюбивым вирусом-осведомителем. В последние несколько лет – рутинная практика: все те же Меиоровы пацаны, их высоколобый вклад в рутинную битву.

В противном случае владельцы подобной фирмы уже давно бы отдыхали на удобных нарах... Леон поднял глаза, пробормотал:

– Недурно. Всюду жизнь... И что же?

– То, что шестьдесят процентов акций компании принадлежали Иммануэлю, – произнес Калдман, с хищным интересом уставившись на собеседника, хотя выражение лица у того почти не изменилось, лишь брови дрогнули:

– То есть?

– Вернее, все еще принадлежали. Он ведь, сам знаешь, не особо разбираясь во всех этих высоких технологиях, отлично разбирался в одном: в бизнесе. И приветствовал все новое, и вкладывал во все, что его удивляло или покоряло. Вспомни хотя бы его космическое кресло – оно разве что канкан не плясало. Вот так однажды к нему явились трое хиппи с идеями, он их выслушал и чуть ли не на другой день открыл под них фирму, которая очень скоро вышла на серьезный рынок и с каждым годом набирала обороты. А после смерти Иммануэля ее, понятно, со всем остальным капиталом унаследовали дети, которые ни ухом ни рылом ни в высоких технологиях, ни в бизнесе вообще, – что престарелый плейбой Алекс, привыкший жить на

проценты с отцова капитала, что Мири с ее кураторством выставок этих недоделков-концептуалистов.

Придвинув к себе тарелку, Натан вонзил вилочку в бок роскошного торта.

– Ее последний проект – молитва нудистов на Мертвом море... Они даже ролик на Youtube выложили, не постыдились. Можешь сам посмотреть, зрелище убойное: толпа голых мудаков с болтающимися причиндалами поклоняются восходящему солнцу. Прочие отдыхающие, роняя полотенца, бегут в свои номера с перекошенными лицами. Называется *перформанс* «Ликование лучей» или что-то вроде этого. – Он пожал плечами и добавил: – Я, наверное, безнадежно стар. Мне по-прежнему нравятся Веласкес и Гойя.

Вилочкой отколупнув изрядный кусок торта, подцепил, отправил в рот, вдумчиво прожевал.

– М-м-м-м!!! – протянул, восхищенно покачивая головой. – Перефразирую известное высказывание: «Вена стоит десерта!»

Вновь после перерыва у рояля возник пианист-невидимка, светло и меланхолично зазвучала гениальная «Summertime», давно ставшая расхоже-ресторанной.

– Но суть не в перформансе, бог с ним. Тебе известно: Иммануэль буквально до последнего дня держал в голове и сам курировал дела тех своих компаний, акции которых так и не решился продать. Так вот, после его смерти детишки решили к чертовой матери пустить по ветру все заботы. И тут весьма кстати, с неба или из-под земли, это уж как кому нравится, является новый репатриант, некий российский бизнесмен Андрей Крушевич, симпатичный такой господин лет за шестьдесят. Скупает на первом этапе сорок процентов акций и автоматически становится членом совета директоров. Порывался скупить и остальные акции и был недалек от цели – уж очень наследники желали освободиться от папиных затей... Ты не хочешь попробовать мой торт? – спросил Натан с неожиданно домашней интонацией, как будто они сидели на террасе дома в Эйн-Кереме и Магда только что внесла бокастый фарфоровый чайник с малиновыми розами. – Это действительно что-то выдающееся, райский вкус. Нет? Напрасно... Между прочим, господин Крушевич отнюдь не укладывается в образ мафиозного быдла. Он ученый, образованный человек, *у нас* развил бурную деятельность и даже баллотировался в Кнессет от одной из русских партий. Но едва грянул вот этот самый, – Натан кивнул на газетную вырезку, что сиротливым горбом валялась у тарелки Леона, – этот праздничный салют... Знаешь, случай – один из тех, что нарушает тщательно продуманные аферы: один наш парень, странствующий после армии по лаосам-гвинеям, увидел в неосторожно приоткрытой двери в багажном отсеке аэропорта две башенки из одинаковых коробок: одна со знакомыми белоголубыми звездочками, другая *переодетая*, готовая к отправке в Тегеран. Вернувшись, позвонил другу в «Маарив», тот сразу же «запустил клеща»... И наш новый репатриант, без пяти минут член Кнессета, в тот же день сделал ноги без торжественных прощаний. Видно, сильно расстроился. Уехал здоровье поправлять – и, возможно, в какой-нибудь Пхукет, Ко Ланту, Краби или что-то вроде.

Ну, вот вам и Шуберт, Франц наш Абрамыч, вот вам и неистовое стремление к счастью, действующее как озон, вот вам и учащение пульса, и потусторонний мажор в миноре.

В который раз он ощутил тоскливое предвосхищение развития темы, в который раз испытал бессильную ярость пленника, упершегося лбом в очередной тупик лабиринта.

– Получатель в Бангкоке тоже моментально растворился, – продолжал Калдман. – Ни офиса, ни сотрудников, ни документов. Фирма арендовала закуток в багажном отделении аэропорта, там же обрабатывали полученные коробки с оборудованием, *переодевали* их и отправляли дальше. Так вот, буквально на другое утро после выхода газеты все следы были замечены, все носы подтерты, все ширинки задраены, – на диво оперативная и тщательная работа. Судя по всему, тут действует некая прямая связь Израиль – Таиланд.

Калдман склонился над столом, слегка подался к Леону:

– Все это не ново. Помню классический случай, когда оружие, расфасованное по контейнерам, честь по чести запечатанное металлической лентой, исчезло по пути в Южную Африку на краткой дозаправке самолета, а к месту назначения прибыли в точности того же веса и в тех же контейнерах болты и шурупы. И что? Ничего. Фирма получила свои деньги по страховке. А дальше – как у Шекспира – тишина. Точнее, грохот пулеметных очередей и взрывы на улицах какой-нибудь колумбийской столицы. Или где-нибудь еще – тамошняя мафия, я уверен, нашла применение нашим «узи», «таворам» и «галилям»...

Он метнул острый взгляд на Леона, с напором произнес:

– Мне почему-то кажется, что Иммануэлю не понравился бы такой ход событий.

Эти его краткие и острые взгляды и сами по себе (из-за хищного левого глаза) напоминали пулеметные очереди. Во всяком случае, если у Леона и не возникло пока желания распластаться на полу, то отвести взгляд уже хотелось.

– Так и вижу его взбешенное лицо. И вообще: эта дерьмовая история для меня – личное унижение. Собственный провал.

Две-три секунды Калдман молчал, держа свою знаменитую говорящую паузу, которую, по условиям игры, должен был нарушить Леон. Но тот невозмутимо дожевывал кислотоватую вишенку, добытую с вершины кондитерского монблана.

– А может, ты и прав, – сдержанно добавил Калдман (вновь мимолетный цепкий взгляд), – мертвым дела нет до унижений.

Да, я прав, ожесточенно подумал Леон, мертвым дела нет до унижений, а ты не втянешь меня в это чертово колесо. Я давно закончил ваши университеты, прошел вашу практику провалов и торжества и понял главное: я хочу быть подальше от того и от другого.

Неожиданно ему захотелось, чтобы у столика вновь возникла та диковатая девица с околыцованным лицом, с густыми шелковыми бровями.

Зачем, зачем она их проткнула?! И если бы извлекла металл, если б разоружилась – заросли бы дырочки в коже, или это лицо, собранное из нежных раскосых овалов, навсегда осталось бы меченым белыми оспинами шрамов?

Заодно интересно знать, на что тебе сдалась эта девчонка, что за тревожащая связь тебе почудилась между нею и самим собой?.. Как странно голос ее звучит – *упругий*, сопротивляющийся... Преодоление... чего? Угловатость жестов... Откуда эта необъяснимая схожесть между вами, какая-то опасность, обоюдная загнанность?

Изумившись этой мысли, столь посторонней всему разговору, всей трудной встрече с Калдманом, он потрянул головой и спросил:

– А оборудование... ну, то, на чем специализировались ребята Иммануэля, – что оно собой представляет? И за какими операциями, говоришь, позволяет следить?

Натан откинулся к спинке дивана, остерегаясь спугнуть неожиданный интерес своего сложного собеседника. Помолчал, выбивая покалеченными пальцами на скатерти джазовый ритм звучащей мелодии. Лениво произнес:

– Да за любыми, в сущности, операциями: электронная почта, сайты, круг интересов и, главное, контакты. Нас ведь многие личности интересуют – например, те же охотники взорвать свою жопу в людном месте. Ну и еще кое-кто... Представь небольшие такие коробочки, напипованные хитроумными чипами, которые позволяют... Только не спрашивай меня о технических подробностях. Если коротко: они многое позволяют, ингелэ манс.

Ну что ж, более или менее понятно. Вслух Леон спросил:

– И что... так-таки ничего не удалось зацепить в Бангкоке?

– Почему же... *кое-что* удалось, я же говорю: главное в нашем деле – *наблюдательность*... Господи, ну и духота!

Натан схватил салфетку и принялся обмахиваться ею, отчего его мясистое багровое лицо возникало в трепыхании белого льна – в этой картине чудилось нечто балетное, что-то от танца

маленьких лебедей. Жаль, что он так перенапрягается, подумал Леон, так явно переживает. Интересно – решится на шунтирование? Магда вроде бы настаивала, он сопротивлялся... Как бы спросить поаккуратнее, он ведь ненавидит все эти медицинские *цирлих-манирлих*.

– Ты можешь сказать, что не такое уж сложное дело – найти концы и затребовать у тайцев выдачи Крушевича. И те с удовольствием пойдут нам навстречу – на черта им эта головная боль? Но есть в деле одна запятая, один порожек, через который мы переступить не торопимся. Оттуда может потянуться нить, как Гедалья считает, в очень перспективном направлении. Именно поэтому пока не хочется трубить сбор. Понимаешь, когда мы вышли на Крушевича и стали копать всю историю купли-продажи акций злосчастной компании Иммануэля, секретарша вспомнила, что Крушевич однажды звонил из офиса и довольно нервно говорил по-русски – вероятно, не слышал, что девушка уже вернулась из кафе, куда он послал ее за гамбургерами. А может, просто не предполагал, что по-русски она чуть-чуть понимает. Ее привезли в раннем детстве, язык она знает плохо, но отличить русский от любого другого в состоянии. Разговора толком не поняла, да они наверняка и говорили-то, знаешь, как водится... Но уверена – по интонации, – что Крушевич был то ли раздражен, то ли встревожен. И дважды громко назвал собеседника «Казак». Думаешь, это кличка или фамилия?

– Может быть и тем и другим.

– «Казак»... – задумчиво повторил Натан, будто пробуя слово на язык. Потянулся к пучку зубочисток в крошечном фарфоровом стаканчике, вытянул одну и стал кропотливо освобождать ее от прозрачной обертки. – Казаки – разве это не украинцы?

Леон тронул ложечкой толстую матрасную пену на капучино в чашке, копнул чуть глубже. Он, как и Эська, любил сладости и откровенно предвкушал удовольствие, совершенно по-детски злясь, когда это удовольствие ему мешали получать. У него не было и тени сомнения, что Натан отлично знает, кто такие казаки.

– Не совсем. Это народ такой, сложился из разных этнических групп, как и все народы. Но сравнительно недавно. При царе были неплохими вояками, служили в основном в кавалерии. Было кубанское войско, донское, яицкое. Вольные люди, лихие рубаки... Нагайки там, папахи, сабли, прочий реквизит, обожаемый украинскими евреями, которых они порубали немало. С одним кубанским казаком я был знаком. Он преподавал у нас в консерватории. Между прочим, неплохой бас, но тоже – с нагайкой. Когда ты пытался ему возразить, что вот у Бетховена тут ясно указано, он взмахивал нагайкой и кричал: «Я здесь Бетховен!» – Леон улыбнулся воспоминанию. – Так что же, собственно говоря, вас насторожило? Мало ли кому человек мог звонить и с кем говорить по-русски. Вот если б вдруг он заговорил на суахили...

Последние минут десять Леон то и дело задерживал рассеянный взгляд на входной двери, и Калдман, заметив еле уловимое движение его глаз, отнес это на счет нетерпения – закончить встречу, распрощаться, улизнуть. Поэтому энергичней приступил к сути дела.

– Видишь ли, – со значением произнес он, – уже несколько лет мы гоняемся за одной тенью. По некоторым признакам этот тип – ключевая фигура во многих сделках по продаже оружия распоследнему сброду в самых вонючих подворотнях нашего региона. Например, российские триггерные устройства, без которых не сладить бомбу для очередной славной *весенней демократии* у нас под боком, – они приплывают в какой-нибудь Ливан не по случайной цепочке. Не исключено, что сам он обитает где-нибудь в Европе, но материализуется в разных местах. Ты же знаешь, все эти агенты-оружейники ведут кочевую жизнь: их можно встретить где угодно. Такой вот аноним. Валькирия на ближневосточном небосклоне. Да и черт бы с ним. Мы и сами – оружейная держава и продаем этих конфет и пуговиц на семь миллиардов в год. Но недавно от него пахнуло ураном и еще кое-чем, из чего мастерят «грязную бомбу». А это нам уже совсем не понравилось. Знаешь, как в готических романах: появляется призрак, его сопровождает запах сырости и ледяной холод... Так и здесь. С одной стороны, «грязная

бомба» – это, конечно, небольшой радиус действия. С другой стороны – одной такой пугалки, прилетевшей из Ливана в Хайфу, как ты понимаешь, вполне достаточно для серьезной беды... Не далее как вчера в бегущей строке новостей Би-би-си: озорники из «Аль-Каиды» где-то в глуши затрушенной Анголы напали на полицейский участок и *урановые рудники*, которые разрабатывает некий западный предприниматель. Что за предприниматель, сколько их там, этих предпринимателей... А главное – «Аль-Каида»! Которая спит и видит «грязную бомбу», много маленьких таких грязнуль, чтобы встряхнуть душу не только из Израиля – из кого угодно. Недаром они распихали спящие ячейки по всей Европе... Ты, возможно, помнишь одну историю чуть не восьмилетней давности: провал попытки переправить партию урана из Танзании в Казахстан, где руду должны были обогатить, а затем из Актау – Каспием – в Иран? Но на границе Танзании один контейнер показался подозрительным, и отправка сорвалась.

– Казахстан? – с сомнением переспросил Леон.

– О-го-го! Еще бы. Второе место в мире по запасам урана, и они ежегодно наращивают добычу и обогащение.

– Хм... я думал, после закрытия Семипалатинского полигона они вернули России все атомные бомбы.

– Вернули, вернули... Однако в девяносто шестом в печати мелькнуло, что Казахстан тайно продал Ирану три советские ядерные боеголовки.

– Чепуха: возврат боеголовок проходил под международным контролем.

– Допустим. Возможно, тюлька. Но полигон практически не охранялся, и, скажем, плутоний, собранный где-нибудь в районе «Плутониевой горы» в пластмассовое пляжное ведро, вполне мог быть использован по назначению. Ты представь ситуацию: развал СССР, новые отличные возможности для контрабанды урана и прочего добра – цезия или того же плутония. Особенно если у заинтересованных лиц есть на месте давние завязки и институтские дружбы...

Леон сосредоточенно подбирал ложкой остатки ванильной пенки. Поднял голову:

– При чем тут институтские дружбы? Чьи дружбы?

– Пока не знаю. Но Крушевич учился на отделении ядерной физики в МГУ и после диплома получил направление в Курчатов, на Семипалатинский полигон. То есть каждого полевого тушканчика знает там в лицо и прекрасно осведомлен во всем, что касается урановой добычи в Казахстане.

Калдман вонзил зубочистку между двумя передними зубами, провернул ее с ожесточением.

– Ты решил что-то насчет шунтирования? – спокойно спросил Леон. Натан застыл с торчащей во рту зубочисткой, сломал ее, чертыхнувшись, вытащил и бросил на тарелку.

– Иди, поцелуйся с Магдой! – рявкнул он. – Вам что, не терпится усадить меня в инвалидное кресло?!

Уже не церемонясь, с силой отер потное лицо салфеткой, смял ее и бросил на стол. Помолчал, остывая, вроде бы злясь, как, бывало, злился на домашних, на деле же – деликатнейшим охотничьим чутьем предчувствуя ту самую *тягу*, что изменяет весь ход охоты... И точно: Леон отодвинул от себя тарелку с недоеденным десертом и нетерпеливо спросил:

– Ну, и что ты хочешь *от меня*?

И сразу же мысленно проклял свою торопливость, странный яростный азарт, гонимую ненависть, что всегда охватывала его, стоило замаячить вдали давним теням мертвенной равнины мессы...

– Ничего. – Натан улыбнулся: старый косою людоед в предвкушении завтрака. – Чтобы ты отдохнул в Таиланде.

И, вновь отметив беглый взгляд собеседника на двери ресторана, уже иным тоном, скухими фразами, как обычно говорил с подчиненными в кабинете:

– Мы думаем, Крушевич отсиживается где-то там. В Патайе. Или на Ко Ланте.

– Какие основания?

– Тассна. Пристроен в фирму-кейтеринг, которая принадлежит французскому еврею из Ниццы: приемы-фуршеты, пикники, *корпоратив*... Тассна уверен, что Крушевич был на одном из приемов... на чьей-то яхте, возможно, на своей.

– Хм... Яхты имеют обыкновение уходить, приходить, – заметил Леон. – Становиться на якорь, сниматься с якоря... Название?

– «Зевс». Ходит под флагом Сьерра-Леоне, принадлежит какой-то торговой компании.

– Натан... – Леон пожал плечами. – Все это какой-то детский лепет. Что значит «Тассна уверен»? Он Крушевича видел? Опознал по фотографии?

– В том-то и дело: не видел, а *слышал*. Слышал, как женский голос из толпы гостей крикнул: «Андрей! Госпо-дин Крушевич!» И что-то там по-русски... Однако, учти, парень крутился как черт. Он ведь не гостем был, а работал, обносил столы. Выспрашивать, кто что крикнул, да еще по-русски, не мог. Дело не в этом. Мне не хотелось бы торопиться с Крушевичем. Меня беспокоит «Казак» – что это за фигура? Как и с кем связан? Именно за ним я вижу серьезную сеть – если, конечно, он тот, о ком я думаю, а не просто случайный знакомый Крушевича: такое тоже может быть... Во всяком случае, хотелось бы, чтоб вокруг этой парочки пока было тихо. Пусть думают, что натянули нам нос...

– Тем более что так оно и есть, – не церемонясь, отозвался Леон.

– Да-да... именно, *ингелэ манс*. Сам не знаю, почему прошу тебя приняться. Меня интригует этот тип. Прощупай тамошнее русское общество, ты это умеешь. Хочу, чтобы ты пошлялся там со своим гениальным слухом, универсальной внешностью и, главное, своим русским языком. Уверен, у тебя найдутся знакомства... Ты же не в штате. Ты у нас приглашенный солист. – Опять расцвел своей раскосой улыбкой и добавил: – И, главное, Леон, не увлекайся. Никто не требует от тебя джигитовки на мотоцикле. Мотоциклисты проходят у нас по другой ведомости.

Он подметил очередной ускользающий взгляд Леона, решил, что главное сделано, и удовлетворенно продолжил:

– Разумеется, там сидят и наши люди. Но у них другие методы работы, и мы бы не хотели, чтобы ты с кем-то сталкивался. Наоборот: даже если кто покажется знакомым, ты его... не узнай. – Он скупой улыбнулся и повторил: – Ты не в штате, ты приглашенный солист.

В эту минуту входная дверь открылась и некоторое время пропускала небольшую, но яркую компанию явно восточного образца: пять женщин, трое детей и двое мужчин. Все прекрасно одеты, женщины, несмотря на дневное время, увешаны золотом. Все смуглые и черноволосые. Тем более среди них выделялся высокий представительный блондин лет пятидесяти, со странно неподвижным, слишком симметричным, будто вырезанным по лекалу лицом.

Компанию встретили и сопроводили в противоположный конец зала к трем сдвинутым столам. Очевидно, семейное торжество, все заказано заранее.

Леон отвернулся от них и проговорил ровным, почти легкомысленным тоном:

– Знаешь, все жду – когда я начну петь во сне...

– Во сне... – повторил Калдман с недоумением. – В каком смысле?

– Ну, обычно человек совершает во сне то, чем занят наяву... Плотник строгаёт, парикмахер стрижет, портниха кроит или там вертит ручку швейной машинки. Все жду – наступит ли день, когда во сне я буду петь, а не подсекать бегущего человека, перебрасывать его через себя, ломать ему позвоночник или душить двойным нельсоном... Возникла пауза.

Официант, принимая заказ у восточной семьи за длинным столом, как дятел, склонялся к дамам. Сюда долетали звонкие голоса их детей, на которых матери шикали. Над всеми возвышался блондин с постной физиономией.

Натан прокашлялся.

– Боже упаси! – проронил он сочувственно. – Душить?! Человека?! О чем ты говоришь?..

Кто, черт побери, заставляет его душить человека, что за бред, для этого существуют другие люди... Ну да: это он «образно говоря»... Артист, эмоциональный человек, проклятый груз памяти...

Натан вдруг сильно устал. Не так, как бывало раньше в середине дела, в гонке интересов, в захлебе погони, – по-стариковски устал. Последние пару лет его донимали сердечные спазмы, о которых он боялся думать. Он уже не чувствовал прежнего гончего азарта в достижении цели, в тонкостях вербовки, в поэтапном составлении плана разветвленной операции.

Сорвалось, подумал Натан, не ощущая ни досады от неудачи, ни обиды на Леона, одну лишь пустоту и тихое нытье в груди, слева, будто там сидел и поскуливал новорожденный щенок, напоминавший о себе по ночам и в такие вот минуты усталости. Ну что ж, сорвалось – и довольно. Действительно, следует оставить его в покое. Пусть наконец все его таланты служат сцене и музыке: его голос, артистичность, реакция. Грациозная сила нападающей змеи...

– Знаешь... ты прав, – наконец выговорил Натан. – Мы в последнее время злоупотребляли твоей готовностью помочь, твоим дружеским чувством, а может, просто неумением решительно отказать старым друзьям... Забудь все, о чем мы тут говорили. Ты прав – и свободен.

Он хотел добавить – умиротворенным тоном, будто ничего не произошло, – что надо бы счет попросить, что вечером у него билет на органный концерт в Карлскирхе, потом такси в аэропорт, а до того хорошо бы навестить еще одного человечка. Хотел категорически замять всю эту беседу, сердечно попрощаться и поставить, наконец, точку...

... о, не в их отношениях, конечно! – разве их отношения держатся только на деле? Разве не вырос мальчик у него на глазах, разве не кричала вчера за завтраком Магда, когда он так глупо обмолвился – вот, мол, передам от тебя привет Леону: «А я говорю, ты оставишь его в покое! Пиявки, безжалостные мясники, отпустите парня!» Магда... Странно, что за глаза она часто называла Леона сиротой. Это при живой-то матери! Впрочем, женщины такие вещи тонко чувствуют. Во всяком случае, первый кусок за столом следовал в тарелку Леона, а вовсе не Меира – тот всегда лучился здоровьем и полнокровным удовольствием, которое с детства получал от жизни.

Меир-крепьши никогда не нуждался в сочувствии.

Осталось позвать официанта и попросить счет.

– Знаешь... – проговорил Натан и спохватился: – Вернее, конечно, не знаешь. В семидесятых, когда СССР приоткрыл щель и оттуда потек «народ мой», улов ребят из Сохнута на венском перроне был до смешного мизерным. Советские евреи прямиком направлялись в Америку, кое-кто оставался в Европе, но все готовы были рвануть куда угодно, только не в Израиль. Кислая картина... А мы арендовали целый замок, Шёнау, где люди пересиживали между советским поездом и самолетом в Бен-Гурион. Аренда, охрана – затратная история. Ну, и решили вместо замка снять несколько пунктов передержки. Один такой открыли в восьмом *бецирке*, в Йозефштадте. Обычная квартира на Флорианигассе, семь. *Контора* тогда очень тщательно отслеживала появление в городе каждого человека с *подозрительным* типом внешности. Любого, *вроде тебя, ингелэ манс*, – извини! – брали на мушку. Мне по службе приходилось бывать здесь время от времени.

Так вот, из окон этой квартиры как на ладони был виден подъезд дома напротив, Флорианигассе, десять, откуда в декабре тридцать восьмого года шуцманы-австрияки вывели мою мать Эльвиру с двумя детьми – четырнадцатилетним моим братом Эвальдом и мной, двухмесячным. Заметь: собственная квартира в восьмом *бецирке*, в Йозефштадте – мамино приданое... Это всегда был весьма респектабельный район, почем там жилье сегодня, представить страшно. Все чин-чинарем: мать тащила неподъемный чемодан в одной руке, меня несла в

другой, Эвальд тоже нес чемодан, а в левой руке – роскошный, коричневой кожи футляр с отцовской скрипкой. Сам отец, бывший концертмейстер вторых скрипок Венского филармонического, участник Первой мировой, подпоручик Линцкого королевско-императорского полка и кавалер боевых орденов, на тот момент уже благополучно сидел в Маутхаузене: через месяц после аншлюса повздорил с тубистом – главой оркестровой ячейки нацистской партии. Мать говорила, что у отца всегда был «вздорный характер и замашки подпоручика».

Едва зашли за угол дома, вахмистр шуцманов рванул у Эвальда футляр. Тот вцепился, дурачок, – отцову скрипку пожалел. Ну, и боров-вахмистр саданул пацана кулаком в грудь так, что отбросил на мостовую, а футляр со скрипкой, разумеется, отобрал. Между прочим, оригинал «туринского» Джованни-Батиста Гваданини – тебе приходилось встречать инструменты его работы? Он в этикетках именовал себя учеником великого мастера: «*alumnus Antonio Stradivari*». Эвальд говорит, когда отец разыгрывался зимой при открытой форточке, слышно было на другом конце улицы, так что, возвращаясь из гимназии, брат издали знал, дома ли отец. Сегодня такой инструмент стоит весьма приличных денег и продается только своим либо на серьезных аукционах...

...Судя по всему, восточная семья за длинным столом чествовала старую даму с излишком золота на шее, в ушах, на запястьях. То и дело кто-то из гостей поднимался, долго что-то говорил, прижимая руку к груди, затем подходил к даме и целовал ее в морщинистые щеки.

Высокий блондин тоже поднялся и тоже долго распинался с неподвижным лицом, при этом старая дама растерянно смотрела на него, точно силилась и не могла припомнить этого человека. Впрочем, он, как и все, подошел и расцеловал старуху в обе щеки.

– Да ты ведь слышал эту историю, – спохватился Натан. – Извини, конечно слышал: для нас все кончилось благополучно и относительно легко – скрипочка не в счет. Мать добралась с нами до Англии, а сразу после войны, в сорок пятом, мы приехали в Палестину. Правда, уже без отца...

Так вот, в квартиру на Флорианигассе, семь, попадала разная публика, и далеко не каждый день: бывали времена, когда из России в Вену прибывало сразу несколько поездов и авиарейсов, а к агентам Сохнута не подходил никто. Говорю тебе: советские евреи стремились в Америку – страну великих возможностей. Маленький заштатный Израиль, восточная провинция, крошечный островок в море арабской ненависти – он их пугал. У тех же, кого нам удавалось «выловить», был, как правило, затравленный вид. Они ни черта не понимали, ничего не знали. И с таким же затравленным любопытством глазели на красоты Вены – вот он, настоящий Запад! Иные даже опасались выходить на улицу: так и сидели в квартире до отправки в аэропорт. «Запад» видели из окна – угол дома, чистенькая подворотня, брусчатка, аккуратные мусорные баки во дворе.

Короче, летом семьдесят девятого, когда Советы выпустили максимальное число «отъезжантов», а мы, неудачливые рыболовы, сидели на бобах, попало туда, на Флорианигассе, семь, семейство из... как тогда назывался Петербург?

– Ленинград...

– Да, из Ленинграда. Муж, жена, двое деток и старушка-бабушка, интеллигентного такого вида дама, но удручена до невозможности. Молодые с детьми отправились гулять по городу, а старушка смотрит в окно на подъезд моего родового гнезда, и слезы текут у нее ручьями. Думаю: господи, ну, я бы рыдал – понятно, а она-то что здесь потеряла?

– Ты бы рыдал... – усмехнулся Леон.

– Именно! – подхватил Натан. – Вежливо спрашиваю старушку: *can I help you?* Та с трудом: «Их фарштэе нйт!» Перешел на муттершпрахе: что же так огорчило гнэдиге фрау? Радом-

ваться надо: ее семья благополучно вырвалась из антисемитской страны, послезавтра приземлится на родине, и внуки не узнают ужасов тоталитаризма!

Старушка по-немецки еле-еле, больше на полузабытом идише, и то через пень-колоду: ах, молодой человек, я даже гулять с детьми не пошла, боюсь – увижу Вену, тут же слягу. Видела снимки этого самого Израиля – тоска, провинция, пальмы... Сыну-то плевать, начался, молодой дурак, этого их Жаботинского. А я, между прочим, – кандидат искусствоведения, историк архитектуры, родилась и всю жизнь прожила на Фонтанке... И что увижу в последний час – уродливые пыльные бараки?

Ну, стал я уговаривать: Израиль – страна красивейших пейзажей, колыбель западной цивилизации, подобно Греции и Риму... – Натан хмыкнул: – Скажу тебе откровенно: пейзажи пейзажами, а только у нас инструкция была: никаких отрицательных сведений. Да, так я ей говорю: своими глазами увидите места, описанные в Библии. Старушка, услышав про Библию, сердито отмахивается: «Генуг!» Это ассимилированное поколение, знаешь, они иудаизм ненавидели... Моя бабка, кстати, тоже. Ну... отмахивается от меня фрау историк архитектуры и в слезах раздраженно кивает в окно на «мой» подъезд: смотрите, мол, вот это – культура, это – западная цивилизация, а вы мне – «родина», про какую-то чуть ли не Уганду! Смотрю ее глазами: действительно, красиво – стиль модерн, первое десятилетие прошлого века... Ну как, думаю, объяснить бабке: когда из такого великолепного подъезда тебя в лучшем случае вышвыривают на улицу, когда ты вне закона и никто не спасет, когда жизнь твоих детей зависит от настроения и алчности какого-нибудь австрияка-шуцмана, единственной мечтой поневоле станет свое государство – с любой, пусть самой уродливой архитектурой. И я, знаешь... я почему-то промолчал тогда. Подумал: старуха уйдет своим чередом, бог с нею и с ее архитектурой; молодые притерпят, все у них худо-бедно перемелется. А вот дети будут наши! – Он глянул прямо в глаза Леону и повторил: – Наши! Арифметика простая, парень...

И неожиданно для себя самого, порывисто подавшись к Леону и перейдя на придушенный хриловатый иврит, Натан проговорил, тыча изувеченным пальцем в стол:

– Просто я помню, как ты относился к своим агентам: все их проблемы ты брал на себя! И я был уверен, что этот вонючий финт с компанией покойного Иммануэля приведет тебя в бешенство! Я думал: ты ведь так был к старику привязан, ты не позволишь... Думал, захочешь раздавить слизняка сам! Ведь то, что у нас называется «*хешбо́н нэ́ф еш*»¹⁰, – это единственное, что, в конечном счете, остается от человека. Да, это так же нематериально, как наш абстрактный Бог, и это, конечно, безумие, согласен – выбирать какое-то там достоинство, месть за покойного друга, который не может постоять за себя сам, и прочую муру, вроде благодарности за добро, сделанное тебе, мальчишке...

Леон опустил глаза на свои сцепленные на столе руки, медленно разжал их и аккуратно отодвинул тарелку с недоеденным десертом. Он безуспешно пытался сохранить невозмутимое лицо. Вот уж кто умел доводить до белого каления, так это Калдман, – вот кто умел вытащить твои кишки, намотать на кулачище, напомнить о твоём собственном доме, тоже отнятом бог знает кем! И неважно, что ты понимаешь и видишь, *как* он это делает, да и сам когда-то много раз прибегал к подобным штукам; все это уже неважно...

Пытаясь совладать со своим бессильным бешенством, Леон процедил:

- В ближайшие недели у меня слишком плотный график.
- Неужели? – живо спросил Натан. – Выступления? Репетиции?
- Через три дня – концерт в Батуми.
- О! Что поешь?

Господи! Вот клещ! Вот же клещ проклятый!

¹⁰ Букв. «счет души» (ивр.).

– «Аве Марию» грузинского патриарха Илии Второго... – холодно ответил он, уже взяв себя в руки.

– Что ты говоришь! Сам патриарх сочинил музыку? Правда?! Брось: наверняка напел по телефону, а там уж грузинские музыкальные негры сбежались оркестровать, а? Не патриаршее дело – партитуры чирикать... – И с увлеченным интересом: – Ну, а потом? После Батуми?

– Потом начнутся репетиции «Алессандро».

– Отлично. И когда премьера?

– Четвертого сентября.

Калдман вздохнул и с облегчением произнес:

– Значит, в лучшем случае конец сентября...

В голосе его, однако, уже слышны были обычные командные нотки, уже отбивали чеканный шаг барабанные палочки. Он и не скрывал торжества: охотник, попавший в летящего тетерева; рыболов, подсекший крупную форель в тихом джазовом ручье...

– О деталях – ближе к делу, – он словно отмахнулся от чего-то незначительного. – Чуть позже получишь все фотографии, все материалы. – И, чувствуя внутреннюю потребность в завершающем аккорде – старый меломан! – подпустив чуток вибрации в свой «венский» задушевный тембр голоса, проговорил: – Даже если ты просто покрутишься по островам и потом напишешь эссе о впечатлениях путешественника (но без публикации в *National Geographic*), – это с лукавой улыбкой, – мы будем благодарны. – И твердо повторил: – Мы будем благодарны за любой твой форшлаг, *ингелэ манс*. За любую трель. Пусть даже и канареечную!

На этом деловой разговор был окончен.

И пока они высвистывали официанта и просили счет, пока расплачивались и ожидали назад карточку (платил Леон: Натан в казенных расходах был щепетилен, а в личных на удивление прижимист – у каждого свои недостатки) – все это время говорили о музыке. Только о музыке:

– Да, литургию, причем разную, очень люблю. Готов примириться со всеми на свете верами. Многие у нас жалуются на крики муэдзина в рассветный час, а я признаюсь тебе, что и пение муэдзина мне нравится: и это ведь – глаза, обращенные к небу, не так ли?

Это тоже было импровизацией на вольную тему. Кое-кто из старых друзей еще помнил знаменитую выходку молодого Калдмана, лично расстрелявшего со своего балкона динамики на минарете соседней – через ущелье – арабской деревни, мухтар которой не пожелал удовлетворить просьбу местных властей убавить звук трансляции утренней молитвы. Это стоило Калдману больших служебных неприятностей, однако с тех пор песнь муэдзина его рассветный сон не тревожила.

– Но Шубертом ты меня пронзил, Леон! Всегда думал: твой специфический голос предназначен для, скажем так, чисто «котурного» репертуара – барокко, в крайнем случае классика. Но «Серенада»!.. Ты просто создан для музыки романтиков! Почему бы не замахнуться на «Winterreisen»? Хотя бы на «Мельничиху»? Дай старику помечтать! «Миньону» помнишь?

Леон хмыкнул и слегка – в четверть, да куда там, в одну шестнадцатую голоса, чтоб услышал только Калдман, – прошелестел-промурлыкал:

Kennst du das Land, Wo die Zitronen blühen?
Im dunklen Laub die Goldorangen glühen?¹¹

¹¹ Здесь: «Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут, / Где в темной листве померанец горит золотистый» (нем.), пер. М. Михайлова.

Натан прикрыл веки: дегустатор, вдохнувший редчайший аромат.

– Боже, какая модуляция – из ля мажора в до мажор – альтерированную верхнюю медианту... И это начало девятнадцатого века! Какой, к черту, Бетховен!

Компания за длинным составным столом перешла к десерту, и, значит, слишком задерживаться не стоило.

Леон терпеливо переждал, пока откроются мечтательно смеженные глаза Калдмана в бегемотьих складках набрякших век.

– И наконец, в-третьих... – пряча банковскую карточку в портмоне, сказал Леон, как бы подхватывая упущенную нить разговора.

– Что – в-третьих? – рассеянно отозвался Калдман.

– Я назвал две причины, по которым затащил тебя в эту шикарную душегубку, – пояснил Леон с меланхоличной полуулыбкой на аскетическом лице египетского жреца, – Троцкий. Моя музыкальная прабабка. И в-третьих... Глянь-ка в зеркало за моей спиной, левее... да! Восточная компания за длинным столом. Мужчина между жгучих женщин... Не тот, что похож на одесского докера, – то господин Крюгер, австриец в десятом поколении, владелец сети прачечных по всей стране. Другой, деревянный блондин с пугающе симметричным лицом, как бы стянутым с арийской колодки. После нацистских бредней в понятие «ариец» обычно вкладывают неправильный смысл. Между тем известно, что настоящие арии – это именно персы, о которых так заботится Шаули...

И наблюдая, как отвердевает лицо Калдмана, как темнеют его глаза раскосого быка, вылевшего из загона, Леон со злорадным удовлетворением добавил:

– Не стоит сверять с фотографией. Вы еще не знакомы с его новой внешностью.

– ...С-с-суккин сын!!! – восхищенно прошипел Калдман, ударив по столу покалеченной ладонью. – Как тебе удалось?

Леон потянулся к графину, вылил в бокал остатки воды, выпил и с едва заметной горечью проговорил:

– Ты забыл, что, помимо делишек вашей сраной конторы, я занят кое-чем еще и, когда не убиваю людей, веду жизнь приличного человека...

Тот поздний теплый вечер после премьеры «Блудного сына», совершенно безветренный (редкость в Венеции в начале апреля), – тот вечер, переходящий в ночь, которую они с Шаули провели за столиком паршивой забегаловки с «пиздоватыми» куриными ножками на вывеске, – он словно вчера миновал. Во всяком случае, Леон ясно помнил уголок набережной в проеме настежь открытой двери, горбатый мостик с каменными перилами, иконное сияние небольшой луны и черно-золотую от света фонарей воду канала, где то и дело в полной тишине возникала и скользила очередная припозднившаяся гондола, гордой грудью уминая сеточку слабых звезд на воде.

Оба они прилично выпили.

– До утра заживет, – повторял Шаули, – самолет только в девять.

Стояла оглушительная тишина, такая бывает лишь в уснувшей Венеции, такая, что слышны были пузырьки воздуха в аквариуме, где в ожидании завтрашней казни колыхался последний угрюмый лобстер.

Хозяин решительно порывался закрыть заведение, но Леон вновь выдавал отрывок из какой-нибудь арии, и всякий раз хозяин остолбенело замирал, благоговейно качая головой, – где-где, а в Италии, даже в третьеразрядных трапториях понимают толк в подобных головах.

Шаули сетовал, что уже месяца два им ужасно не везет: ищут иголку в стоге Вены.

– Знаем точно, что он в Австрии, – говорил Шаули, – то ли в Вене, то ли в одной из альпийских деревушек неподалеку. По нашим сведениям, приехал с какой-то медицинской целью: на исследования, а возможно, даже для операции. Прочесали все клиники, кроме косметических, – ничего похожего! Единственная зацепка – двоюродная сестрица в одном оркестре, но выхода на нее нет...

(Подразумевал, что выход – вот он сидит, сокрушаясь, что в эти минуты мог бы пить отличное вино в зале приемов «Гритти-Палас», а не стопорить своими руладами хозяина «пиздоватых» ножек.)

– Поверишь, обыскали все, – говорил Шаули, – разве что фотографий не расклеивали и не давали объявлений в газетах: «Разыскивается выдающийся иранский ученый-атомщик профессор Дариуш Аль-Мохаммади».

А напрасно, ребята, вы игнорируете великую косметическую хирургию. Она сегодня чудеса творит.

Как раз профессор Дариуш Аль-Мохаммади, глава администрации завода по обогащению урана в Фордо, где на днях были запущены в строй три тысячи новых центрифуг, был извлечен Леоном самым рутинным способом – из постели.

Сделать это оказалось нетрудно: Наира Крюгер, концертмейстер группы альтов Венского филармонического, давно посылала ему соблазнительные полуулыбки поверх медовой верхней деки своего дорогого инструмента. Правда, она вовсе не казалась идиоткой (несмотря на то, что уже в лифте, поднимавшем их в номер отеля, доверительно призналась, что, как и многие другие, считала его геем; и он, столь же доверительно, на ушко шепнул ей – как и многим другим – «проверим, детка?»), и все же она не казалась абсолютной идиоткой, потому он и не думал, что все произойдет так ошеломительно просто.

– Как тебе мой нос? – спросила она после несколько удивившей его бури. Он и не предполагал, как раскрепощена и шумлива (несмотря на то, что в этом дорогом отеле не стоило бы оглушать постояльцев и прислугу) может быть в постели замужняя восточная женщина. – Как мой новый носик?

– Обворожителен, – отозвался он на зевке, мечтая, чтоб она поскорее оделась. До вечерней репетиции оставался еще целый час, и он собирался повести ее в бар и слегка напоить, прежде чем приступить к разработке на тему двоюродного братца. Вот уж на нос ее было решительным образом плевать. Вообще-то, и смотрел он вовсе не на нос. Он любовался неожиданным сочетанием в ее фигуре очень тонкой талии и очень полных бедер. Особенно когда она сидела на пуфике перед трюмо. Леон валялся на кровати, изрядно потрепанный ее кипящей страстью, и наблюдал тонкую спину с пышными ягодицами: это было похоже на изящный, плавно стекающий книзу кувшин работы иранского мастера. – Носик твой обворожителен.

Нос, на его взгляд, был ужасен: слишком короткий, неестественно прямой. То ли у хирурга полностью отсутствовало чувство стиля, то ли пациентка просто замордовала бедного австрийца требованиями «европейских пропорций». Ведь ясно, что при этих полукруглых, знойно поднятых бровях, при этих сладчайше вывернутых полных губах лицо требовало крупного носа с горбинкой – носа красавицы с персидской миниатюры, с каким наверняка произвела ее мать на свет божий. И еще раз повторил:

– Чудный милый носик, моя Психея. Но охота ж тебе лезть под нож мясника.

– Это что, – довольно проговорила она, высоко поднимая брови и припудривая лицо, еще не просохшее от любовной испарины, попутно бросая из зеркала многозначительные взоры на простертого Леона. – Это еще чепуха. Видел бы ты, как исполосовали моего кузена! Живого места на лице не оставили. Даже волосы в лысину вживляли. – Расхохоталась и добавила: – Такова жизнь: ты бреешь свою шикарную шевелюру, а другие целое состояние выкладывают,

чтобы темечко худо-бедно проросло... Я, знаешь, каждый раз вздрагиваю, как вижу его новое лицо, – не узнаю брата: чужой человек! Где мой любимый Дариуш, с которым мы играли в детстве! Через две недели празднуем в ресторане мамин юбилей, и кузен, само собой, тоже будет... Он обычно нигде не появляется, жизнь у него такая... сложная, но день рождения мамы для него – святое! И я опять себя готовлю, чтобы не ахнуть в первый миг.

...Далее оставалось только правильно поставить парус. Например, вытянуть из нее дату и время семейного торжества: умоляю, моя радость, я появлюсь в Вене совершенным невидимкой, я ведь буду смертельно скучать. Только глянуть на тебя издали одним глазком, ты даже не заметишь (на торжество она, разумеется, собиралась с супругом).

Из ближайшего интернет-кафе он написал на некий призрачный адресок письмо Шаули: такого-то числа, мол, буду по делам в Вене и с удовольствием пообедаю с тобой, если по случаю окажешься там в то же время. Ждал подтверждения от друга, а получил – буквально к вечеру того же дня – подтверждение от самого Калдмана: окажусь, мол, как же, как же, окажусь по делам в Вене и отобедаю с удовольствием. Старый лукавец уже давно подчеркивал свой *консультативный, а не оперативный статус*, но ревнивым оком все еще посматривал за молодыми оперативниками. Опять же – давно не виделись, отчего и не пообедать?

И вот чем оно обернулось.

«...Жаль, я сидел не один, – объяснит потом Леон *пышной заднице*. – Зато любовался твоим носиком битых два часа».

А может, вообще ничего не говорить? Все равно этой интрижке уготована бесславная кончина. Просто сложилось так, что в ресторан он привел собственного свалившегося на голову дядю, надоедливого глуховатого старикана. Что поделать – все мы заложники семейных связей.

Он оставался за столом еще минут пять, выжидая, пока Натан – сутуловатый и все еще мощный (а со спины так и вовсе не старик) – неторопливо покинет ресторан, пройдет мимо «Дуби Рувки», все так же рассеянно листавшего газету, и *замутится* в толпе.

Затем легко вскочил и сам направился к выходу.

Толкнув дверь, услышал вопль из кухни:

– Ай-я!!! – вопль, что показался ему криком боли: так мог вскрикнуть человек, случайно порезавшись ножом. Но тот же голос через мгновение повторил за его спиной по-русски: – Долго я буду тебя звать?

Снаружи, на ступенях ресторана, с фотоаппаратом в руках стояла девушка, наспигованная колечками, – та, что неумело их обслуживала вместо отлучившегося официанта. Кажется, она снимала толпу на площади.

Мужчина в белой куртке рабочего кухни, с закатанными по локоть рукавами, бесцеремонно опередив Леона, выскочил на крыльцо и хлопнул девушку по плечу так, что та вздрогнула и обернулась.

– Где ты болтаешься? Немедленно за работу! Когда! кончится! этот бардак, Айя?! – крикнул он прямо ей в лицо. – Когда?!

Выругался в сердцах и вернулся в помещение.

Она негромко, словно самой себе, ответила по-русски:

– Когда ты сдохнешь...

И принялась свинчивать с камеры огромную, как телескоп, явно дороговую линзу *Canon*...

Леон удивленно pokrutil головой и спустился на несколько ступеней. Значит, русский – вот родной язык этих пробитых колечками губ.

Мы по-прежнему строим вавилонскую башню, подумал он, – и по-прежнему без особого успеха.

«Дуби Рувка» лениво поднимался ему навстречу. Легко задев Леона трубочкой свернутой газеты, извинился по-немецки и вошел в ресторан. Сейчас займет их освободившийся столик или причалит к стойке бара, и за профессора Аль-Мохаммади с этой минуты можно не волноваться: он будет присмотрен. Профессора станут передавать из рук в руки, дабы с ним – таким красивым, таким арийцем, таким выдающимся ученым – не случилось беды прежде времени. Вот только жаль виртуозной работы австрийского хирурга: Аль-Мохаммади не успеет вернуться к трем тысячам работающих центрифуг, как не успел вернуться из Праги к себе в Натанзу Моджтаба Аль-Лакис, – *Ал-ла иера-а-ахмо!*..¹²

Два бронзовых атлета тоже покинули свой пост и нырнули в подземную стоянку, где им наверняка предстояло преобразиться в нечто гораздо менее блестящее и заметное. И то сказать: сколько может человек, пусть даже обученный, пребывать в неподвижности?

Леон стоял на нижней ступени ресторанного крыльца, готовый двинуться к особняку французского посольства – тут недалеко, двенадцать минут ходу. Он любил приходить вовремя даже на никчемные и утомительные приемы; никогда не знаешь, кого там встретишь и чем может обернуться очаровательный вздор жены помощника атташе по культуре. Стоял и наблюдал броуново движение толпы на площади, все еще объятый усталым солнцем.

Надо натравить Филиппа на Грюндля, опять подумал он. Припугнуть старую сволочь, пригрозить, что не станем больше у него записываться. Да, именно так – сокрушительный ультиматум: денежки на стол!

Что касается сегодняшней встречи – что ж, *они* полностью использовали свой шанс. Вообще-то, он был уверен, что *зацепить* его можно только через Владку, любимую его пошлую мамку. Правда, Владка была сейчас тоже *изгнана в пустыню*, и хотя время от времени предпринимала истерические попытки вернуться, не скоро еще вернется; отбудет свой срок на полную катушку. И вот, надо же, как они его *зацепили*, злодеи! – через давно покойного Иммануэля. Нет, все-таки нельзя обрастать болью, пусть даже болью памяти. Надо латать и законопачивать все свои бреши. Его девиз – никаких привязанностей! – был самым мудрым и выстраданным достоянием. Самым драгоценным завоеванием его собственной философии. И все же Натан его достал. Достал в тот момент, когда всерьез и окончательно Леон приказал себе обрубить все связи с прошлым, закопать все виды ненависти, зализать все раны и пуститься в тот путь, который в конце концов приведет лишь к колыханию звука, к натяжению голосовых связок, к полету голоса, к единственной любви – Музыке...

Натан Калдман в эти же минуты своим грузным военным шагом отмерял плиты широкого тротуара, рассудив, что до *безопасной квартиры* может добраться и пешком, не сахарный. Машина понадобится Рувке, когда тот досидит на *торжестве* и решит *сопроводить профессора*.

А он, Натан, – не сахарный, он пройдет. По крайней мере, немного собьет возбуждение, охватившее его в ту минуту, когда он понял, *кого* на сей раз сервировал им Леон на белом блюде, в изысканном зале ресторана. И вновь мысленно проследил весь сегодняшний разговор, в течение которого тот блестяще провел свою *музыкальную* партию, ничем себя не выдав. Ты – потрясающий, ты – прирожденный охотник, черт бы побрал все твои сердечные и прочие занозы, *ингелэ манс!*

Хорошо, Магда, мысленно сказал он жене, я даю тебе слово, Магда, это – в последний раз! Ты права, надо оставить мальчика в покое. Я клянусь тебе, Магда, когда он добудет для нас этого самого «Казака» – он и вправду станет *частным лицом*, как сам любит повторять, хоть это и полная бессмыслица. Видела бы ты, как пыхнули его горячие глаза, когда он услышал,

¹² Да будет к нему милосерден Господь (*араб.*).

что проделали с компанией Иммануэля! В этих глазах была жажда древнего ритуала кровопролития, Магда, – не менее сладкая цель, чем какое-нибудь до третьей октавы, взятое его бесподобным голосом. Но – хорошо, пусть он станет настоящим *говенным частным лицом* и пусть поет до ста двадцати на здоровье! Ты права, Магда, с моей стороны это *безнравственно*: в конце концов, почему я должен рисковать им больше, чем собственным сыном?

Натан Калдман полагал, что Леон недолюбливает его сына Меира. Он заблуждался: Леон Меира ненавидел. Ненавидел и считал главным источником зла в его, Леона, распроклятой жизни.

Меир, Леон, Габриэла...

1

...А какими дружками были!

Это все Меир: он обеими руками подгребал к себе поближе тех, кто, по его мнению, нуждался в его помощи, защите, подсказке, проверке и даже в его школьном завтраке. Когда по утрам заспанная мать в халате поверх ночной сорочки (она всегда трудно просыпалась) мастерила ему на кухне бутерброды, он – бодрый, порывистый – выскакивал из ванной с зубной щеткой, поршнем ходившей во рту, и кричал:

– Ма-ам! Жратвы побольше, о'кей?

А что делать, если на переменах нужно обсудить с кучей народу уйму проблем? Времени нет по буфетам бегать! Он расстилал салфетки на парте, вываливал подножный корм для своих оленей – налетай, ребята! Ну, и после занятий, тут и гадать не нужно, каждый божий день уж двоих-троих на обед непременно притащит: столько всего недоговорили, недообсудили...

Такой мальчик, вздыхала Магда, общественник. Никакого покоя...

И – дым коромыслом, и споры, и гогот, и музыка, и репетиции очередных придуманных им сенок – веселый ор до позднего вечера! Басок Меира перекрывает все окрестные звуки, кажется, даже, и рев осла по ту сторону ущелья, и колокольный «дом-бум» из монастыря Святого Иоанна по соседству. И так – до прихода отца, который один умел взглядом усмирить весь этот дом-бум, со всеми его обитателями, гостями и животными.

И лишь тогда народ расходился и наступала суховатая тишина, в которой из родительской спальни вначале доносились покашливание и шуршание газеты, потом внезапно взрывался, опадал и вновь нарастал вертолетным рокотом храп старшего Калдмана. Наконец, по каменному полу процокивала коготками любимица Магды – белая крыса Буся, шмыгала в свою кладовку и шебуршила там до утра.

Меир с детства был центром любой компании, ее естественной осью: рослый, увалистый, в отрочестве смахивавший на грузчика. Впоследствии «изросся» – возможно, потому, что с восьмого класса ринулся в стихию тхэквондо, где, как сам объяснял, «не попляшешь – не лягнешь» и «ноги – всему голова». К десятому классу вытянулся и стал верзилой, в отца, а ростом так еще выше (эти дети быстро нас обгоняют) и по характеру, уверяла Магда, гораздо приятнее: проще, дружелюбнее, улыбчивее... Да о чем говорить! Меир был душа-человек, магнит, к которому в школе причаливали все по очереди и скопом.

Он и Леона выудил чуть ли не из-под парты.

* * *

В школу при университете – эта семейно-кастовая теплица и называлась «Приуниверситетской», и действительно славилась высоким уровнем обучения – Леон угодил случайно. По месту жительства.

После смерти обеих старух они с Владкой вынуждены были переехать из замызганной и разбитой, протекавшей зимой и до обморока накаляемой летом, но все же большой трехкомнатной квартиры в бедняцком районе в жилье гораздо меньшее, но...

Но вначале надо бы рассказать о том, что случилось с Владкой.

А с Владкой вот что случилось: покупая в понедельник в супермаркете помидоры и картошку, она познакомилась с Аврамом.

У них с Леоном каждый день был помечен определенными покупками. Устраиваться на работу Владка, как всегда, не торопилась, поломойствовать по людям – чем зарабатывали многие репатриантки и поумней, и пообразованней ее – не кинулась. А деньги они с сыном получали небольшие: пособие матери-одиночки да «детские» на Леона, совсем уже гроши. Не разгуляешься, и это еще мягко сказано.

Леон пытался подработать: устроился в продуктовую лавку за углом разносить заказанные по телефону покупки. «Зарабатывать будешь, как бог!» – уверял хозяин. Но судя по тем грошам, что приносил мальчик после нескольких часов беготни, бог тоже был изрядным лохом. Получка Леона складывалась из чаевых, то есть из упований на людскую совесть. К тому же он не брал денег у старух, инвалидов и брюхастых религиозных женщин, изможденных ежегодными родами. Зарабатывал дырку от бублика, зато приобрел немало полезных сведений о свинской природе человека – существа, сработанного доверчивым *боголохом* явно спустя рукава.

– Представляешь, – рассказывал он вечером Владке, – поднимаю на пятый этаж без лифта два чугунных пакета, кило по сто каждый, ни черта от пота не вижу; доползаю, ставлю у двери, звоню... Звоню и звоню... никто не открывает! Вроде как хозяйка отлучилась. Ну, что делать! Не буду ж я там торчать до вечера. Оставляю пакеты, спускаюсь до нижней площадки и слышу: наверху тихо-о-онько открывается дверь, пакеты втаскивают в дом. Это она стояла и ждала, чтоб мне надоело звонить и я ушел. Три шекеля чаевых сэкономила!

А уж после того, как однажды Владка в один присест разметала их пособие, угостив приятельниц обедом в одном из самых дорогих ресторанов («Ну, проголодались! ну, скучно было до ужаса!»), тринадцатилетний Леон, расколов пару стаканов и пригрозив матери полицией, взял дело в свои руки: отнял у Владки банковскую карточку и чековую книжку, составил строгое расписание покупок (по понедельникам, как было сказано выше, покупались четырнадцать средних помидоров, трехкилограммовая сетка картошки, две булки и дюжина яиц) и ежедневно выдавал ей точную сумму на расходы, плюс автобусная карточка на курсы иврита, где вот уже год Владка царила, как примадонна на подмостках сельского клуба, развлекаая учащихся, да и учителя, своими несусветными рассказами:

– Я смотрю – а у тетки четыре титьки! Это бывает, называется «атавизм». И она что: она носила два лифчика, ясно? В два ряда. Так и выходила на пляж. А что делать, а войдите в ее положение: фигурка у нее в остальном была совсем неплохая...

Так вот, покупая в понедельник помидоры и картошку (повторим мы в третий раз), Владка познакомилась с Аврамом.

Приметил он ее давно, с тех пор как она стала закупаться в этом дешевом супермаркете, который (после сверточного рейда по окрестным магазинам) Леон назначил для покупок. Собственно, Аврам и был владельцем данного заведения, многодетным вдовцом, сентиментальным восточным человеком с наливным грустным носом, влажными, как маслины, черными глазами и тяжелой связкой ключей на поясе.

Он подошел к кассе, лично просчитал Владке небогатый улов, лично сложил его в пакет и сопровождал Владку до квартиры, где уселся пить чай за колченогий стол. Сам же и заварил этот чай, неодобрительно качая головой и что-то бормоча про дешевую заварку – купленную, между прочим, в его собственном магазине.

Разлив чай по чашкам и выложив на клеенку свои большие чистые руки многодетной матери, Аврам немедленно посватался к Владке.

– Ты женщина с ребенком, – сказал он. – Кто тебя возьмет, кроме меня?

Владка расхохоталась. Во-первых, ее давно смешил рисунок на этой клеенке: размноженные по диагонали крупные сливы-близнецы, до оторопи напоминавшие лиловую задницу.

В сочетании с заботливыми руками Аврама сливы-задницы почему-то произвели на Владку гомерическое впечатление. Вовторых, она уже проходила параграф учебника под названием *запад-есть-запад-восток-есть-восток* и урок не то чтобы выучила (к учебе она, известно, была малопригодна), а просто не собиралась ходить во второгодницах. Она расхохоталась и долго не могла унять при виде натруженных рук, задумчиво ласкавших клеенку с лиловыми задницами.

Аврам не обиделся. Он спокойно выждал, когда эта красивая рыжая женщина отсмеется, допил чай и налил себе еще.

Потом обошел квартиру, обстоятельно осматривая каждый угол, вкрутил лампочку в кладовке, где с самого их приезда теснилась крошечная тьма и для того, чтобы отыскать босоножки, надо было светить фонариком. Затем, как заправский кузнец, подковал ногу стола-инвалида обнаруженным в кладовке деревянным брусом, и стол наконец перестал шататься.

Тут из школы вернулся Леон, и Аврам пришел в восторг.

– Это же наш мальчик! – воскликнул он. – Наш мальчик, «парси»¹³! Почему ты не сказала, что твой муж был из наших?

– Мой муж, – с достоинством отозвалась Владка, плавно выходя замуж задним числом, – погиб в Афганистане. – И поникла вдовьим лицом.

– *Зихроно' левраха'*!¹⁴ – тихо воскликнул отзывчивый вдовец.

И добрый Аврам ненавязчиво и безвозмездно вошел в их домашний обиход, в их проблемы, в их безденежье, в эмигрантские одиночество и неприкаянность.

Нет, он был человеком практичным и к тому же обременен большой семьей; он не собирався вешать себе на шею эту пусть и роскошную, но довольно бесполезную женщину с ее пусть и очень симпатичным, но чужим пацаном; так, приносил время от времени помятую банку хорошего кофе или слегка продранную коробку стирального порошка, бутылку оливкового масла с поцарапанной этикеткой или пакет мороженой фасоли... а что? вещи полезные, конь дареный, большое спасибо... Но своим многодетным сердцем Аврам обнимал изрядную часть этого неустроенного мира, искренне пытаясь сделать его разумнее и пригоднее для проживания.

Для начала он совершил то, что никому до него не удавалось: погнал бездельную Владку на работу.

– Хватит шлаться по улыпанам, – сказал он. – Ты и так уже много лишнего болтаешь на нашем святом языке. Надо зарабатывать хоть небольшие деньги, но в приличном месте. Я тебя устрою.

Сказал и сделал! «Приличным местом» оказалась резиденция главы правительства.

Так уж случилось, что начальником охраны этого серьезного заведения работал свояк Аврама, Нах ум. И путем трехминутной беседы с начальником по уборке, через фирму по найму рабочей силы Нахум договорился, что с завтрашнего дня Владка выйдет на работу – заведовать тряпками, швабрами и ведрами, а также канистрами с моющими средствами, выдавая их сплоченному взводу сменных уборщиц, немолодых женщин с лицами сотрудниц Эрмитажа. Перетрудиться на подобной ответственной должности было невозможно.

Во-вторых, Аврам переселил их в другую квартиру и, что гораздо важнее, в другой район, объяснив главный принцип существования человека в западном обществе: обитать ты можешь в любой подсобке, любом сарае, любом подвале – но в хорошем районе.

– А что такое хороший район? – подхватил он и сам же себе ответил: – Это приличная публика. И значит, хорошая школа.

¹³ Букв. «перс» (ивр.), в Израиле – еврей из Ирана.

¹⁴ Благословенна его память! (ивр.)

В обычной городской школе в районе иерусалимских трущоб Леон уже освоился. Половина учеников седьмого класса охотилась за косячками, четверо нюхали «коку», многие подворовывали. И все поголовно курили – это считалось само собой разумеющимся. Курить Леон попробовал в первый же день, но сразу и бросил: ему не понравилось першение в горле и удушливый запах дыма в носоглотке. (Всю жизнь «горловые страхи» преобладали у него над стремлением к любым удовольствиям.)

Учителя в этой школе менялись со скоростью кадров в рекламном клипе; чуть дольше задержались математик, гигант с громовым голосом, перекрывавшим лавину визга и воплей на уроках, и шепотливая историчка, сразу после звонка впадавшая в нирвану, чтобы до конца урока тихо дрейфовать за своим столом, как тюлень на льдине.

Но Владке школа нравилась. Однажды она случайно завернула туда во время большой перемены, пришла в неописуемый восторг и с тех пор повторяла:

– Коллектив дружный! Ребята веселые, звонкие! Чего еще? Очень хорошая школа!

Что касается Леона, он всерьез подумывал бросить учебу и устроиться куда-нибудь, где платят такой мелюзге, как он, хоть мизерные деньги. В пекарню «Энджел», например; там и воровать не нужно – там булки после смены за так выдают.

При всей его самоотверженной экономии их банковский счет пребывал в глубоком обмороке.

Лучшей школой в Иерусалиме и одной из лучших в стране считалась университетская теплица с профессорами-преподавателями и отборными ребятами из состоятельных интеллигентных семей. Попасть в нее было непросто. Вот разве что живешь ты за углом и, согласно закону, приписан к данной школе «по месту жительства», а значит, ни одна чистопородная *мам'и* из родительского комитета не посмеет морщить холеный носик и чинить препятствия твоему воссоединению с отпрысками элиты общества.

В тяжелой связке ключей, что болталась у Аврама под брюхом, изрядный вес занимали ключи от жилого дома, некогда перестроенного его отцом из огромного каменного ангара, в котором еще прадед держал самую большую в окрестностях Иерусалима кузницу. Квартиры – их было четыре – Аврам сдавал, подкапливая на приданое дочерям, – уж больно район замечательный: тут тебе университет, тут тебе Кнессет, тут вот концертный зал и музыкальная академия имени Рубина; тут – оглянись только! – все удовольствия, что можно просить от жизни.

А при доме подсобка была в полуподвале, «печаль и ветошь давних дней», по словам самого Аврама: квадратное помещение метров в тридцать, где от многих поколений жильцов копился брошенный или забытый при переезде хлам. Эту самую подсобку Аврам давно планировал пустить в оборот: переделать в квартирку и сдавать, например, студентам – те, как известно, могут жить и в конюшне, и в мусорном баке, и в почтовом ящике. Его большое торговое сердце не позволяло вселить туда Владку с Леоном за просто так – да и с чего бы? Но за уборку двух подъездов... почему бы и нет? Подумаешь, работа для здорового парнишки – дважды в неделю мокрой тряпкой по ступеням пройти!

И Леон ухватился за предложение обеими руками: в их бюджете высвобождались приличные «квартирные» деньги. Чем черт не шутит – может, удастся вылезти из долгов и даже платить за музыкальную школу? Тем более что специальная музшкола при академии Рубина тоже находилась чуть ли не за углом. Вот о чем тосковал он безутешно: о театре, о кларнете, о милом ворчуне и охальнике Григории Нисаныче. Короче, о Музыке.

* * *

Подсобка выглядела ужасно: затхлая, пропахшая пылью и плесенью, с двумя окошками на лестничный пролет, сизыми от корки застарелой грязи. Полуподвал, заваленный ящиками, узлами и обломками старой мебели.

Но Аврам привел двух рабочих-арабов из своего супермаркета, и те буквально за день расчистили помещение, выкинув на помойку столетнее барахло. Леон деятельно им помогал и поживился керосиновой лампой с дымчато-сиреневым стеклом, фонарем с винного завода «Кармель Мизрахи», медным подсвечником и машинкой «Ремингтон» с четырьмя выломанными буквами. Еще ему достался сине-бархатный альбом с фотографиями членов какой-то разветвленной семьи конца девятнадцатого столетия: галстухи, банты, оборки, трости, шляпы и шляпки, бороды и пейсы, кудряшки на алебастровом лбу. И круглое стеклышко в глазу добродушного пузатого старикана в хромовых сапогах.

Но главной добычей стали на диво сохранные лаковые дамские туфельки на медных пуговичках и помятый котелок времен Британского мандата на Палестину – смешная круглая шляпа, в которой физиономия Леона, когда он нахлобучивал котелок на голову, менялась до оторопи.

Его внешность всегда решительно менялась от любой, даже незначительной детали, не говоря уже о таких штучках, как парик или приклеенные усики. И дело не в деталях, не в одежде или прическе, а в самом Леоне: прикидывая на себя чужую шкуру, имя и легенду, он полностью преобразался внешне. Менялись даже походка, наклон головы, манера говорить; появлялись новые жесты, которые, надо сказать, он всегда тщательно продумывал...

Владка окинула взглядом улов своего «барахольного» сына и носком туфли, как дохлую крысу, пошевелила круглый фонарь на полу.

– Больной на всю голову! – заключила она. – Хламидиоз тут развел, прям как в Одессе...

Те же рабочие побелили стены, поставили две гипсовые перегородки, приволокли газовую плиту, унитаз и душевую кабину, разом превратив полуподвал в крошечную, но уютную полутораконатную квартирку с кухонным уголком. А Леон уже сам вдохновенно отдраил оба полукруглых окошка – да, маленьких, но не лишенных некоторого переплетного изящества; отдраил их до чистоты богемского хрусталя, так что сам залюбовался. И Аврам явился, осмотрелся, растрогался – и совсем уж расщедрился: велел поставить две батареи, так что потом, холодными иерусалимскими зимами в полуподвале всегда было тепло.

Еще там обнаружилась арка в стене, которая никуда не вела, – стрельчатая ниша в полметра глубиной. Леон сам навесил внутри полки и очень красиво расставил все свои трофеи: «ремингтон» в центре, по бокам – фонарь и лампу. А одно из платьев Барышниного «венского гардероба» – самое изящное, кремовое, с кружевами *валансьен* и с черной бархоткой – повесил на плечики и на стенку; и к черту идиотские Владкины замечания.

Полуподвал сразу очнулся, зажил и превратился в уютное обиталище: то ли каюта корабля, то ли семейная часовенка.

В эту симпатичную сумрачную берлогу перекочевала и кое-какая старая мебель, собранная Аврамом у жильцов: лично ходил по квартирам на предмет «отдайте чего не жалко хорошей женщине с ребенком». Владка на это фыркнула: «Стыдобища!» – но милостиво приняла еще очень приличный секретер, кушетку, на которой Леон проспал до самого своего отъезда в Россию, и кое-что из утвари, среди которой обнаружили даже пять гарднеровских чашек с тремя целыми и двумя чуть треснувшими блюдами.

– Живите! – сказал Аврам и, будучи склонным к библейскому ощущению мира и связи поколений, добавил: – Гарун аль-Рашид тут не поселился бы, а вам подойдет. Живите, и пусть настанет в судьбе Леона день, когда он с улыбкой вспомнит эту скромную обитель, лежа в шезлонге у бассейна на своей вилле.

(У самого Аврама на вилле в Бейт-Вагане бассейна не было. Он не одобрял все эти бесстыжие глупости и не поощрял дочерей к прилюдному обнажению тела: хочешь мыться – мойся, для того существует душ, не говоря уже о микве.)

...И за этот вот царский дар, за университетский ботанический сад неподалеку, за вежливых и приветливых соседей, за бетховенскую Тридцать вторую сонату, обожаемую жильцом из верхней квартиры, за столетнюю пинию у подъезда, за птичий щебет в ее райской кроне по утрам только и требовалось, что дважды в неделю набрать воды в ведро, раскатать ее с верхней площадки, сгребая шваброй вниз, затем отдраить каждую ступень вручную и, как говорила Стеша, «внагигбу», отжать тряпку покрепче да пройтись разок всухую.

Невелика плата за крышу над головой.

Все же удивительно, как этот замкнутый мальчик – такой хрупкий на вид, выросший в столь же странного и хрупкого молодого человека, – никогда не избегал физической нагрузки, никогда не ломался под гнетом большого веса или длительных тренировок и среди бойцов своего взвода был известен тем, что тяжелейшие марш-броски молча и упорно пропахивал с шестидесятикилограммовым рюкзаком за плечами, из-за которого не видать было головы. А доволочив до базы отбитое свое тело, не валился на койку прямо в ботинках, а плелся в душ – смыть пот, грязь, песок и кровь, – после чего надевал тапочки и отгораживался от друзей-командиров и прочих раздражителей внешнего мира собственной непробиваемой броней: Музыкой.

Невелика плата за жизнь.

2

Девочка вся была длинненькой, ломкой, страшно подвижной – стрекоза! На высокой шейке голова с кучеряво-каштановым, дрожащим облаком волос. И надо всем этим – впереди всего, в глубине всего, из самой глубины – глаза: сине-серые, зелено-синие, фиолетово-черные при электрическом освещении...

Да, она была похожа на стрекозу, что надолго не присаживается ни на лист, ни на ветку или цветок, а парит, зависая в воздухе, трепеща крылышками и разглядывая мир огромными прозрачными глазами.

Девочку-эльфа звали Габриэла – очень подходящее имя для таких синих глаз, таких длинных ног и рук, таких золотисто-каштановых волос.

Леон уже неделю смотрел на нее со своей задней парты, и на уроках смотрел, и на переменах, никуда не выходя из класса, досадливо ерзая, когда вид на нее заслонял высокий, толстый и добродушный мальчик с именем-вымпелом: «Меир!» – это имя неслошь отовсюду, его знали все, он всем был нужен, даже высокомерным старшеклассникам, а на переменах становился вершиной утеса, с высоты которого, как с горы Синай, раздавался голос, уже сломавшийся в нестойкий басок.

К тому же этот громила приносил из дома кучу вкусной и дорогой еды, которая уничтожалась его друзьями мгновенно. Леон такой еще не пробовал. Они с Владкой по пятницам позволяли себе только курицу – пятница была днем скидок на птицу в супермаркете Аврама.

В тот день, когда на большой перемене человек восемь сгрудились вокруг Меира и, азартно работая челюстями, выслушивали его мнение о школьной музыкальной группе (дрянь, настоящая дрянь и останется дрянью, если мы не возьмем дело в свои руки!), Леон торчал на задней парте, с которой открывался потрясающий вид на фигурку Габриэлы, явившейся в школу в белых шортах и синей майке. Сзади на шортах были пришиты косые карманы с «золотыми» заклепками – по одному на каждую половинку обаятельной попы, так что та казалась забавной рожицей, – а на майке по-английски написано: «Ты впечатлен? Я довольна. А теперь отвали!»

Он даже не услышал, когда Меир, заметив его с высоты своего роста, крикнул:

– Эй, а ты чего под стол спрятался? – не понял, что это к нему относится.

Габриэла обернулась и сказала:

– Он не спрятался, он просто ма-аленький... – и показала, какой именно: на кончике указательного пальца, будто блоху поймала.

Леона изнутри как кипятком ошпарило. Но внешне он никак не отозвался на слова мерзкой девчонки, так и сидел, разглядывая компанию с невозмутимым видом завсегдатая греческой таверны.

– И иврита не понимает, – добавила Габриэла и прыснула.

– Нет, почему, я сразу понял, что ты – самовлюбленная дура, – отозвался Леон. – Тем более что это видно за километр.

Иврит у него к тому времени был не хуже русского. Не только потому, что врожденная (и тренированная хоровичкой Аллой Петровной) четкая артикуляция речи производила впечатление абсолютного владения языком, но и потому, что с каждым человеком он говорил с тем ритмом фразы и той интонацией, которых требовали обстоятельства, психологический тип собеседника и цель разговора.

Девочка ахнула и подбоченилась, колыша копной золотисто-каштановых волос – овца, деревяшка, глупая длинноносая цапля! А Меир рассмеялся и сказал:

– Да он еще меня перерастет, хватит на человека пялиться, вы что – очумели? И оставьте человеку сэндвич, эй, Бени, слышь, дай человеку пожрать!

Вот каким он был, наш Меир: добрый, справедливый, умный – душа-человек!

И Леон не успел оглянуться, как его дружески извлекли из-за парты, и уже через минуту он жевал булку с листом вкуснейшей бастурмы внутри и участвовал в обсуждении жгучей проблемы: как переплюнуть выпендренчиков из школы в Рамат-Эшколе – у тех давно был приличный музыкальный ансамбль. Он старался не смотреть на Габриэлу, дав себе клятву, что возненавидел ее, возненавидел до конца своих дней... боковым зрением ловя синие брызги искристых взглядов, от которых невозможно было увернуться, как от шрапнели.

В этот день после уроков он впервые очутился у Меира в Эйн-Кереме – обаятельном богемном пригороде Иерусалима, с туристическим гомоном ресторанов, баров и галерей на двух центральных улицах; с задумчивым гулом монастырских колоколов, с лесистыми склонами глубокого ущелья и с неожиданной деревенской тишиной сонных переулков и тупиков, что заканчивались коваными воротами в каменном заборе, за которыми – в зелени винограда и олив, среди выплесков желтых, красных и белых цветков гибискуса – пряталась скромная старая вила, укрывшая в подоле под горой еще два своих этажа.

Впервые Леон оказался в доме Калдманов: в чудесном, распластанном по склону горы доме, встроенном в две горные террасы так, что из одной комнаты в другую вели – как ноты на нотном стане, до-ми-сольдо – полукруглые ступени.

Тогда-то он впервые увидел и Магду, и та показалась ему старухой, маленькой и щуплой, с аскетичным лицом: впалые щеки, всегда чуть сдвинутые брови, над которыми идеально ровно, как черта под некой запретной мыслью, отрезана челка, сильно пробитая сединой.

А потом уже Магда не менялась. Во всяком случае, и через десять, и через двадцать лет она оставалась немолодой сухощавой женщиной в тесном шлеме седых волос.

Словом, они ввалились к Меиру, и тот, свесившись над перилами, что плавной дугой уходили куда-то вниз, как в трюм корабля, крикнул:

– Ты где, ма-а-ам? Все ужа-а-асно голодные!

И на его зов откуда-то из-под горы по этой дуге стала медленно восходить женщина: сначала показалась седая макушка, затем голубая блузка, джинсы на тонких юношеских бедрах, легкие ноги в спортивных тапочках... вслед за которыми со ступени на ступень прыгал белый комочек с длинным розовым хвостом: крыса Буся, что, как матрос по снастям, лихо взобралась к Магде на левое плечо и отлично устроилась там, рассматривая компанию черными бусинами глаз.

Магда молча пересчитала детей, машинально прикидывая, распечатывать ли вторую пачку «бурекасов» или одной будет достаточно, и наткнулась на взгляд незнакомого мальчика – настороженный, сумрачный, чужой. Удивленно подумала, что ее великодушный сын-нараспашку уже и арабчат на улицах подбирает.

– Это Леон, мам! – торопливо пояснил Меир. – Он у нас новенький и, представляешь, как повезло, – играет на кларнете! Так что группа есть: я – гитара, Леон – кларнет, Габриэла – клавишин, а Ури – ударные.

– Здравствуй, Леон, – ровным тоном отозвалась Магда, вместе с легким голубоватым облачком доставая из морозильной камеры пачки с пирожками. (У такого салютного Меира такая морозильная мамаша, мельком заметил мальчик.) – И где же твой кларнет?

Леон пожал плечами, не зная, рассказывать ли про то, как валялись на перроне станции Чоп их вывороченные баулы.

– Его у меня нет, – легко пояснил он. – Остался там... в Союзе.

Господи, подумала Магда, кого только не приносит к нам из того самого «Союза»... Интересно все же, откуда он – из Махачкалы? Из Дербента? Как попал в нашу школу? Неловко спрашивать. И... может, он путает кларнет с какой-то их национальной э-э-э... камышовой дудкой?

Вслух произнесла тем же ровным, прохладно-приветливым тоном:

– Ну что ж, вашему ансамблю только солиста не хватает. Или солистки. – И улыбнулась: – Может, ты заодно и поешь, Леон, а?

– Я пою... – после некоторой заминки, потупившись, отозвался смуглый мальчик, этот «мелкий восточный мальчик», из тех, что по приезде в страну сразу же попадают у штатных психологов в графу «социальный случай», в школе грешат наркотиками, страдают наследственными болезнями, а будучи призванными в армию, пополняют собой контингент военных тюрем. – В общем, я... да, немного пою.

Впоследствии Магда часто вспоминала этот миг. И хотя с тех пор много раз слушала Леона в разных залах и даже умудрилась попасть на его дипломный концерт в зале Консерватории (когда с Натаном оказалась в Москве на конференции по вопросам борьбы с терроризмом), она при первых же звуках его голоса неизменно ощущала одно и то же: дыбом вставшие на руках волосы, блаженную слабость, озноб моментально замерзшей кожи лица – как в ту минуту на кухне ее дома, когда неухоженный, несуразно и неряшливо одетый и, кажется, давно немытый мальчик (должно быть, дома экономят воду) глубоко вздохнул, расправил

плечи, слегка устремился вперед, и все пространство дома затопило серебряной струей хлынувших звуков «Каватины Нормы»:

– «Ca-a-a-as-ta di-i-iva! Casta diva inarge-e-enti...» – с таким подлинно итальянским произношением, таким безмятежно молитвенным голосом, что Магда лишь нащупала спинку стула и опустила на него, не чувствуя ослабевших ног, не сводя глаз с этого – о, теперь-то она увидела! – ангельской ясности лица...

Что было потрясающим в этой сцене – кроме голоса мальчика, разумеется, – застывшие чуть ли не в священном ужасе лица остальных детей. По крайней мере, лицо Габриэлы Магда будет помнить всегда: бледное лицо Габриэлы с горящими, как от затрепчин, щеками; лицо ее будущей невестки Габриэлы, матери ее внуков; женичины Габриэлы, виноватой во всем.

...И всю жизнь Леона с Магдой связывали особые отношения, которые не касались ни Меира, ни Натана, ни Габриэлы.

Например, при всей своей нелюбви к электронной почте, Леон время от времени слал Магде коротенькие – в пять-шесть иронических фраз – отчеты о прошедших концертах, а она отовсюду, где бы ни оказалась, присылала ему открытки с видами каких-нибудь Афин, или Стамбула, или Санторини. И он писал в ответ: «Магда, ты – последний на земле человек, который шлет почтовые открытки, написанные рукой, и я целую эту руку, пусть и на расстоянии...»

В семье считали, что «это ужасно трогательно», и давно перестали над ней подтрунивать и дразнить ее и Леона. Между этими двумя разными во всем людьми сохранялась многолетняя, необъяснимая, но верная душевная связь, за которую оба они упорно держались.

Все знали, что за глаза Магда называла Леона «сиротой», – после того родительского собрания, где впервые увидела победительную, веселую, трепливую и щедро накрашенную Владку. Вернулась домой и сказала Натану: «Этот мальчик – сирота».

– Просто ты привязан к старухам, – как-то сказала ему Габриэла. – К старикам тоже, но главное – к старухам. А Магда заменяет тебе двух твоих бабок. Да ты и сам старичок, мой малыш. – Габриэла всегда знала, как цапануть его побольнее, как крутануть и выщипнуть кусочек сердца, чтобы оно кровоточило и болело подольше.

Но он чуял в ее слегка презрительных словах правду. Да, он всю жизнь скучал по Стеше и Барышне. Не тосковал – глупо тосковать по людям, прожившим такую неохватно длинную жизнь, – а именно скучал, искренне повторяя себе, что они тоже по нему скучают – там, на мертвенной равнине бесконечной мессы... Часто напевал «Стаканчики граненые», что перед смертью бормотала себе под нос уже полностью спятившая Барышня. Да, он скучал по ним. И, вероятно, потому так доверчиво и крепко, с первой же встречи привязался к Иммануэлю.

* * *

...И дело не в группе, не в кларнете, не в признательности за то, что Иммануэль оплатил покупку инструмента и подарил главное: возможность учиться; всего-навсего вернул Музыку.

Никто не упрекнул бы Леона в неблагодарности: он принимал участие во всех благотворительных концертах Иммануэля, которые время от времени тот устраивал в своем «бунгало», собирая весьма достойные суммы – то на жизнь какому-нибудь очередному страдальцу, лысому после химиотерапии, то на психологическую реабилитацию каких-то несчастных женщин, битых мужьями, то на покупку трех собак-поводырей для слепцов, почему-то выпавших из бюджета общества слепых.

В такие дни из Савьона в Иерусалим присылали машину с шофером – за Леоном и «верным Гришей», что аккомпанировал всем сборным сосенкам домашних концертов. Безотказному «Грише» было за семьдесят. Заслуженный деятель культуры Адыгейской АССР и дей-

ствительно хороший пианист, он скучал по своим брошенным студентам, радостно откликаясь на любое приглашение помузыцировать.

На «верного Гришу» можно было положиться в любую погоду, при любом насморке и прочих «форсмажорных» обстоятельствах.

(Это он научил Леона правильно выходить на поклон: «Не кивай, как понурый ишак, только чуть наклони корпус... еще глубже... и еще... А теперь резко выпрямись и – правая рука на сердце – улыбайся! непременно улыбайся!»)

Благотворительные концерты Иммануэля были для «верного Гриши» настоящей отдушиной, праздником, к которому он готовился загодя и потом долго и бурно переживал: и поездку в роскошном лимузине, и «прием гостей» – в просторном холле, на фоне открытого «бехштейна» (подлинного берлинского «бехштейна», привезенного в Палестину в начале века, отделанного светло-коричневым буковым шпоном, – непревзойденного «бехштейна», чей дискантовый регистр рассыпался хрустальными колокольчиками); и само выступление перед отборной публикой. В холле на пластиковых стульях, взятых напрокат, свободно рассаживались человек пятьдесят (и что это были за люди!). Ну, а после концерта гостей ждал сервированный в патио изысканный обед с отменными винами, непременно горячим блюдом и фирменными «пирожками от Фиры» (уф! – с горохом и чесночком!), – которые можно было умять штук восемь за один присест, глазом не моргнув.

Да, незабываемые вечера у Иммануэля...

* * *

Дело в том, что Магда приходилась Иммануэлю родной племянницей, дочерью единственного его младшего брата Михаила, майора разведки, погибшего в Синайской кампании 1956 года. Так что Иммануэль не только любил Магду, но и баловал ее больше, чем собственных детей, даже когда она выросла и вышла замуж. В семье считали, что Магде он не может отказать ни в чем – тем более в таком пустяке, как покупка инструмента для одаренного («Нет, Имка! – не одаренного, а гениального!») мальчика.

– Ладно, – добродушно отозвался дядька. – С гениальностью погодим. А кларнет – отчего не купить, пусть дудит, цуцик.

– За музыкальную школу согласился платить Натан, – торопливо встала Магда.

Иммануэль захохотал и покачал головой:

– Натан? Платить? Хотя бы *грош*¹⁵? Этот скряга? Ну, видимо, рак на горе пёрднет... – Отсмеявшись, добавил: – Ладно, не терзай его. Уж как-нибудь на уроки способному пацану я тоже могу отстегнуть. *Гурньшт*¹⁶!.. Ну так привези его сюда, этого *шмоцарта*... И кларнет – его ведь нужно покупать с дельным человеком. Ты хоть знаешь, откуда его берут и с чем едят?

– Кларнет? Или дельного человека? – усмехнулась она.

Дельный человек нашелся, далеко не ходили. Звали дельного человека, как по заказу – Станислав Шик, он преподавал в музшколе при академии Рубина. Так что все сложилось. Втроем с Магдой и Шиком они отправились в *шикарный* музыкальный магазин на улице Бен-Иегуда выбирать кларнет. Выбирали долго – и видно было, что Станислав получает колоссальное удовольствие от всего процесса, заставляя мальчика брать в руки то один, то другой инструмент и извлекать звуки в разных регистрах.

Смотр начали, понятно, с недорогих: не стоит тратить большие деньги на начало, заметил Станислав. Ну, пусть и не совсем начало, и все же, после такого большого перерыва...

¹⁵ Грош (*иер.*).

¹⁶ Пустяки! (*идиш*)

Но у Магды, видимо, были свои резоны. После двух-трех пассажей она спокойно осведомлялась – а что есть еще, подороже? Вот этот? Покажите... Выслушивала, чуть склонив седой шлем волос к левому плечу, будто у нее там привычно сидела ее любимица Буся, выпрашивая печенюку из кармана, и столь же неторопливо просила показать... вон тот, да-да, я понимаю, что он еще дороже.

В сумочке у нее лежал открытый чек, подписанный Иммануэлем, который велел «не корчить из себя бедных родственников и не покупать ведро дерьма на повидло».

В итоге потрясенный Станислав, перепробовав пару немецких «альбертовских» кларнетов и несколько французских, известной фирмы «Buffet», остановился на прекрасном японском «Yamaha». А на обратном пути к «Опелю» Магды, минуту назад невозмутимо выписавшей продавцу огромный чек, только и повторял:

– Ну, парень... ну, знаешь, парень... это тебе не!.. Да ты просто какая-то Синделлелла, парень!

Сам же Леон впервые за все время в Иерусалиме чувствовал даже не счастье-восторг, не блаженную невесомость, как предполагал еще утром, а странный и глубокий покой, точно вернулся наконец домой после долгого-долгого странствования. И уверенность чувствовал – в себе, в своих руках. В необъятном пространстве звуков, что раскинулось где-то между его затылком, ушами, носоглоткой и легкими.

* * *

И в ближайшую пятницу Магда привезла Леона к Иммануэлю, по пути заглянув с ним к своему парикмахеру Моти – тот был самый дорогой и модный мастер в Иерусалиме. Моти, сероглазый красавец из Барселоны, изысканный педрила с романтическим шлейфом любовных драм, одна из которых (самоубийство его последнего возлюбленного) потрясла «весь Иерусалим», увидев Леона, остолбенел.

– О-о-о!!! – стонал Моти, перебирая смоляные локоны мальчика, напряженно сидевшего в кресле. – Уничтожить это богатство, Магда, друг мой?! Погубить Рафаэля?! О, жгучий отрок Рафаэль! Их даже завивать не нужно – бархат и агат, ночная волна в лунном луче... Я завью их в сотню косичек и подниму в узел на затылке – это будет сенсация!

Магда поймала испуганный взгляд Леона в зеркале, успокаивающе подмигнула.

– Нет, я отказываюсь от убийства образа, Магда, друг мой!

Указательным пальцем сощелкивая с сигареты пепел в высокую бронзовую пепельницу на цаплиной ноге, она сухо велела:

– Покороче, попримичней, и вымой ему как следует голову, Моти, мы торопимся.

Нормальные брюки и блейзер тоже пришлось купить новые, так как шмотки Меира были несоразмерно «цуцику» велики.

И он предстал перед Иммануэлем – с кларнетом в руках, в таком вот приглаженно-благоухающем (мерзкими парикмахерскими лосьонами) виде, стриженный, как черная болонка. Вырасту – обрею волосё наголо, к чертовой матери, в отчаянии думал он.

– Никто не просит тебя целовать руки благодетелю, – сказала Магда, паркуя машину у забора, за которым восставала и выплескивалась на каменный гребень колючая цветная поросль. – Но в двух-трех достойных словах – поблагодари. Он того стоит.

Заглушила мотор и вышла из машины.

Они открыли калитку в воротах и очутились в саду – совсем ином, чем у Калдманов, не сосново-оливковом, а пальмовом, засаженном миртовыми кустами; поднялись по каменным ступеням в огромный, как театральное фойе, увешанный картинами и заставленный стран-

ными скульптурами холл с роялем и минут пять еще бродили, заглядывая во все двери, «по оставленной шхуне в поисках капитана», как сказала Магда.

Наконец, обнаружили его у бассейна в просторном патио, с двух сторон обнесенном крыльями дома.

И у Леона просто не оказалось возможности ни подобрать, ни вымолвить слова: из плетеного кресла, стоявшего к ним спинкой, показалась рука, пальцы шелкнули, а маленькая веснушчатая кисть крутнулась, подманивая гостей.

Они подошли, и Магда со словами:

– Дом нараспашку, все по-прежнему в стиле «ограбьте меня уже кто-нибудь, ради бога!», – склонилась и поцеловала в макушку кого-то там, кто сидел в кресле и даже не был виден из-за высокой спинки. Та же рука потянулась к низкому плетеному столику, ловко плеснула из бутылки «спрайт» в два бокала, а зычный голос приказал:

– Пить!

И дальше говорил только старик, а Леон, вытянувшись перед ним влюбленным солдатиком, кивал, или мотал головой, или смеялся забавным словечкам старика и его неожиданному – посреди иврита – и потому особенно смешному русскому «суч-потрох!» – когда тот удивлялся, возмущался или явно что-то одобрял.

Потом Леон играл на кларнете и по просьбе Магды спел, не чувствуя никакого стеснения, до ужаса боясь только одного: что Магда сейчас прервет его и скажет: «Ну, довольно, пора нам возвращаться...»

Но и она, видимо, чувствовала себя здесь как дома и не собиралась уезжать; принялась уверенно хозяйничать на кухне, разогревая обед. И втроем они очень вкусно пообедали совершенно домашней едой: куриным супом с лапшой, котлетками с гречневой кашей, оладьями со сливовым джемом – будто Стеша готовила.

Тогда еще у старика не было ни Тассны, ни Виная, шкандыбал он сам, опираясь на палочку; весь огромный разлапистый дом убирала приглашенные филиппинки, а обеды готовила Фира, репатриантка из Молдавии, с которой, кажется, он заодно и жил.

– Как, ты сказала, фамилия этого цуцика? – спросил Иммануэль Магду чуть позже. – Хмм... звучит элегантно. *Наши* немецкий вариант. Был такой религиозный мыслитель – Фридрих Кристоф Этингер, Германия, восемнадцатый век. – И вздохнул: – Чего только мы не подцепили, шляясь среди них... Хотя, глядя на *этого* Этингера, я б не удивился, услышав фамилию Хусейни или Муграби.

– Если б ты видел его мамашу, – возразила Магда, улыбнувшись, – ты бы решил, что самое подходящее ему имя – О'Брайен или О'Хара.

* * *

Станислав Шик был Леоном доволен: тот быстро восстановил уровень, с которого прервались занятия с Григорием Нисанычем, и хорошо продвигался. Педагогом Станислав оказался умеренным, корректным, чудес не требовал и сам особых чудес не предъявлял. Свою речь пересыпал уважительными «голубчик», «милый» и «парень, это никуда не годится, повтори, пожалуйста!».

А Леон скупал по нежному хамству Григория Нисаныча, вспоминая, как наливалась вишневым соком груша его вислого носа, если ученик фальшивил, и как колотил он Леона по спине мягким волосатым кулаком и орал: «Звук!!! Где твой хер-р-ровый звук?»

Через месяц Леон уже участвовал в первом своем благотворительном концерте в доме Иммануэля, вполне прилично исполняя под аккомпанемент «верного Гриши» концерт Людвига Шпора. Кажется, в тот вечер собирали средства на строительство хостеля для солдат-одинок.

Впоследствии Леону приходилось бывать на самых блестящих приемах и светских раутах в самых великолепных особняках, дворцах и театрах. И он вполне отдавал себе отчет, насколько «попрошайские посиделки» у Иммануэля вышколили его, сызмальства выучив непоказным приличным манерам, умению приветливо и неназойливо завязать беседу и столь же изящно ее закруглить, когда течение этой беседы становится для тебя нежелательным; ответить на вопрос, не пускаясь в долгие объяснения, и вскользь поинтересоваться тем, что остро тебя занимает. Приучили к мелким, но полезным умениям и знаниям – вроде того, какой нож чему на столе предназначается, когда удобнее расстелить салфетку на коленях, а когда лучше заложить ее за воротник, и как поухаживать за дамой, сидящей справа, и что ей рассказать, чтоб ее вздорный лепет не мешал слушать чрезвычайно важный разговор двух неприметных господ напротив.

Его унаследованное от Эськи «чувство стиля» было отточено и доведено до совершенства в открытом всем ветрам доме невзрачного крапчатого старичка среди выдающихся полотен и скульптур.

У Иммануэля собиралась старая израильская аристократия: легендарные генералы с задубелыми лицами пожилых кибуцников; научные гении с недостающей на рубашке пуговицей; два лауреата Нобелевской премии в каких-то областях химии или физиологии; выдающаяся актриса Камерного театра Фанни Стравински с мужем, о профессии и должности которого никто ничего не знал или многозначительно помалкивал; неприметный, неразговорчивый, весь пружинистый и каучуковый человек со смешным именем Сёмка Бен-Йорам, которого все так и называли: Сёмка.

Бывали там известный скульптор Тумаркин, и дирижер израильского симфонического оркестра Зубин Мета, и скромный, с внешностью учителя ботаники, специалист по ядерной физике, под чьим недреманным оком вырос таинственный реактор в пустыне. Был еще сухонький мальчик, вечный Питер Пэн, старый юрист и выпускник Сорбонны – бывший генеральный прокурор, бывший министр юстиции, член комиссии ООН по правам человека и советник Президента по каким-то каверзным вопросам (Иммануэль говорил про него: «Хаим? Это гигант, гигант, старый поц!»), и наконец, солисты израильской оперы – все многоцветье голосов, что не гнушались перед гастролями по Южной Америке или Северной Италии обкатать часть программы на таком вот «домашнем полигоне».

Иммануэль, веснушчатый хитрый гном с вечно прищуренным правым глазом (зрелая катаракта, которую он решил не оперировать: «Все равно завтра подышать!»), возникал в центре любой группки всегда в самый разгар спора, перекрывал любой разговор своим зычным «заявительным» голосом, обращая в шутку любое мнение, предъявляя «личное свидетельство», вытаскивая из своей необъятной биографии то такой эпизод, то этакую встречу, то судьбоносный спор шестидесятилетней давности.

– Эти три подонка – я имею в виду Ибн Сауда и двух его шпионов, Джека Филби и Аллена Даллеса, – они и вырыли ту выгребную яму на Ближнем Востоке, из которой все мы сегодня хлебаем помой. Филби и Ибн Сауд насадили американские нефтяные корпорации, сделали их хозяевами, а помогал им этот адвокатишка Даллес, суч-потрох, американский шпион! – координировал действия американской разведки на Ближнем Востоке. Эта троица и заказывала музыку, а дирижировали нацисты, потому как доходы Даллеса были завязаны на Германии, и всем это было известно. Эти трое сколачивали террористические группы и посылали их сюда, и предавали всех и всякого, кто имел с ними дело... Даллес! Однажды я столкнулся с ним на каком-то приеме в Лондоне и выплеснул чашку кофе на его белоснежную грудь. Больше меня туда не приглашали, но рубашку я ему испортил навеки... Ха! Ватикан... Ватикан сейчас более всего озабочен вопросами выживания всей конгрегации... В конце шестидесятых они

попросили моей помощи в подборе картин современных мастеров для их коллекции и однажды пригласили на обед... Ну-у, это был странный обед: бумажные салфетки, стол без скатерти, металлические вилки и ножи... Я удержался от замечаний, конечно. Но разве христианское смирение в том, чтобы не иметь приличного платка – высморкаться, суч-потрох?..

...Когда, много лет спустя, где-нибудь на приеме в посольстве Испании или Франции Леон обводил взглядом публику, отмечая то лицо знаменитого комика, то широкие плечи олимпийского чемпиона, то профиль шоколадной фотомодели, то парочку явных резидентов под прикрытием дипломатических должностей, он всегда с грустным удовольствием думал: «У Иммануэля бывало круче...»

* * *

Уже и не вспомнить, когда Иммануэль впервые сам позвонил Леону – будто обычное это дело, будто каждый день звонил пожелать доброго дня – и велел приехать «вот сейчас, да-да, именно, и инструмент прихвати».

Леон ужасно взволновался: минут через пять он должен был выйти из дома на репетицию оркестра музыкальной школы, но, услышав голос Иммануэля в трубке, решил все немедленно отменить и ехать. Забормотал, что, конечно, сейчас же выскочит... на автобус до станции, а там в три часа есть автобус до...

– Оставь этот караван выючных верблюдов, цуцик, – нетерпеливо оборвал Иммануэль. – Вызови такси и езжай прямо ко мне, я заплачу. Хочу тебя кое-кому показать.

Леон схватил кларнет, выскочил и сразу поймал такси. Водила попался лихой и наглый, и, несмотря на дождь, подрезал и обгонял всех на горных виражах, так что долетели минут за сорок, и пока мчались, Леон пытался угадать, кому там он должен *показаться*, фантазируя и представляя себе чуть ли не Лучано Паваротти собственной персоной (и ничуть бы не удивился).

Но под навесом в патио сидел рядом с Иммануэлем такой же мужичок-боровичок, как и сам хозяин, неприметный и какой-то... *допотопный*, которого Иммануэль слегка насмешливо звал то Амосом, то Пастухом. Для Леона это оказалась странная и совсем неинтересная встреча, страшно его разочаровавшая (пропущенной репетиции было жаль).

Иммануэль попросил его сыграть, и он заиграл что-то из недавно выученного, потом его попросили спеть... И хотя мальчик в то время уже избегал петь этим надоевшим ему «бабым» голосом, за который его все время дразнила неумная Габриэла, и устал ждать, когда наконец придет и минует природная ломка и новенький, еще неуверенный, как птенец, его тенор (или даже баритон?) раздвинет голосовые связки, как прутья клетки, и вылетит на волю, – он не смог отказать Иммануэлю и послушно запел свое коронное, из «Нормы», что всегда повергало в трепет тех, кто слышал это впервые.

Он пел, равнодушно отмечая, как с первыми звуками меняется выражение лица у неприметного мужичка, как складывает тот ладони домиком и, подперев им крошечный колючий подбородок, задумчиво рассматривает рябоватую от мелкого дождика воду бассейна. И когда Леон умолк, мужичок пробормотал, не поднимая глаз на мальчика:

– М-да... очень похоже... – И повернувшись к Иммануэлю: – Знаешь, что мне это напомнило? Нашу канарейку в Вильно, до войны. Мама выпустила ее из клетки, когда всех нас уводили в гетто. Сказала: *пусть хоть кто-то из семьи будет на воле*.

– При чем здесь гетто?! – вскричал Иммануэль. – И здесь не Вильно. Ты хоть понял, с чем имеешь дело, Пастух?!

И тот опять сложил ладони, как пастор перед молитвой, и задумчиво произнес:

– Пока не вижу, чем это может пригодиться. Разве что внешность...

Пастух действительно пас, и овечки его были особенного рода, а отправить на пенсию семидесятилетнего Амоса не решился бы ни один из руководителей конторы.

Дело было вовсе не в количестве его заслуг перед страной (большинству из них суждено было оставаться под грифом секретности еще добрых полсотни лет), а в том, что заменить его было некем.

На протяжении многих лет раза два в неделю Пастух отправлялся на работу в министерство просвещения, где давно числился штатным психологом, получая за эти полставки весьма неплохую зарплату. Год за годом на правах сотрудника минпроса Амос объезжал школы и интернаты, детские сады и молодежные лагеря и выискивал, выискивал, выискивал...

Главный интерес в «овечках» для него представляло все, что так или иначе могло пригодиться разведке в недалеком будущем, включая странные особенности, вроде полного отсутствия у ребенка каких-либо талантов, кроме невероятной памяти, мгновенно и совершенно бездумно глотавшей мегабайты информации, или способности у какой-нибудь в остальном самой обыкновенной девчушки мгновенно совершать в уме никому не нужные – в наше-то компьютерное время – громоздкие арифметические действия.

Не говоря о главном: кадровики самого секретного батальона израильской армии, солдат и офицеров которого называют «мистаарвим» – «псевдоарабы», – батальона, выполняющего спецоперации в густонаселенных арабских кварталах, – к отбору курсантов приступали с прочтения тощих папочек, скрупулезно подготовленных Пастухом. Он, блестящий и опытный арабист, знал все деликатные особенности обманчивой игры генов в бурливой крови аборигенов Ближнего Востока. Евреи, приехавшие сюда из Марокко, Йемена или Туниса, из Алжира, Турции, Сирии или Египта, переодетые в галабию, с кувией на голове, ничем внешне не отличались от арабов на базарах Каира, на улицах Дамаска или в переулках и тупиках палестинских деревень и лагерей беженцев.

В виртуозных операциях этого легендарного батальона, помимо тщательной подготовки, глубокого изучения языка и диалектов, жестов и привычек, походки, мимики, родственных обычаев и клановых пристрастий, следовало учитывать множество других мелких деталей: у арабов Иерусалима могли попадаться и голубые глаза (вечный след крестоносцев с их Иерусалимским королевством), у арабов египетских нередко встречался вздернутый нос; йеменцы отличались тонкими чертами лица.

Щедрый поток репатриантов из бывшего СССР, хлынувший в страну в начале девяностых, Пастух воспринял как дар божий. Еще ни одна «алия» не была столь пестрой. Советские мамки, сами того не ведая, привезли с собой для Амоса настоящие сокровища – своих мальчишек, которых в Москве и Харькове, Одессе и Ленинграде называли одинаково, «детьми фестивалей», хотя отцами их вовсе не были участники Международного фестиваля молодежи и студентов, прошедшего еще в хрущевские времена. Мало кто удивлялся, если где-нибудь на сцене детского сада в Виннице гопак в украинском национальном костюме отплясывал очередной негритенок или арабчонок с хорошим русским именем Коля, Андрюша или Миша.

Сказать по правде, папка Леона, заведенная на него в тот день, когда Пастух впервые увидел мальчика у Иммануэля, долгое время оставалась почти пустой. Вот разве что внешность... Пастух был уверен, что в крови мальчика с таким изысканно-«европейским» именем наличествует добрая толика той самой

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.